

Михаил БАРУ

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

ВЗЯТЬ, К ПРИМЕРУ, ДЯДЮ ВАНЮ...

По стопам Пришвина и Бианки

Весна. Суматоха и суета в голове. Сколько надежд прорастает в самых заброшенных и самых пыльных ее уголках... Больше всего глупых, безрассудных, беспечных, нелепых и несбыточных. Они все слабые, эти надежды, неприспособленные к жизни, у них авитаминоз и задержки в развитии. Они умирают от простого сквозняка, от насморка, от зубной боли, от косого взгляда, от случайно оброненного на них слова, но пока не умерли – изволь о них заботиться, изволь их подкармливать обещаниями и посулами. Некоторым и вовсе нужен алкоголь в качестве подкормки – одним коньяк, другим полусладкое шампанское, а третьим подавай водку с пивом. Они потом, при высадке в грунт, все равно загнутся или их поест какая-нибудь крашенная пергидролью тля, но сколько до этого еще придется выпить... Не говоря о после.

Поздней осенью в сумерках небо съеживается до размеров такой маленькой и такой ветхой овчинки, что его может разорвать в клочья своим карканьем одна-единственная ворона. В окно видно, как из дыры, проделанной уличным фонарем в тумане, лезут и лезут, точно пружины из разорванного матраса, мокрые черные ветки. В доме все спят. Потом, ближе к полуночи, проснутся и станут ходить опухшие от вечернего сна, хлопать на кухне дверью холодильника, не просыпаясь есть котлеты, пить остывший чай, потом снова улягутся и еще долго будут во сне причмокивать и цыкать зубами...

Смотришь на уже чуть подвяленные, кое-где покрытые ледяной глазурью ягоды рябины, на почерневшие от первых заморозков резные листики, дрожащие на ветру, и думаешь о том, что зима будет холодной, что вот это... ну, то, что было и не прошло... лучше бы его и не было, но... без него было бы еще хуже, что все равно ничего не вернуть, а если и вернуть, то что с ним делать, что ничего уже не попишешь, а если и попишешь, то не отправишь, а если отправишь, то потеряют на почте или вернут нераспечатанным, о том, что голова болит даже когда ветер не дует, что ветер внутри этой самой головы ледяной и колючий, а раньше был теплый и кружил голову, а теперь голова кружится и без него так, что только держись, чтобы не упасть и не сломать себе что-нибудь, о том, что все это уже давно описал Есенин... веселого и беззаботного не думаешь никогда. Про то, что все образуется, что наладится, склеится, срастется так, что и швов не останется, разбогатеет, простится, забудется, повеселеет... нет, про это почему-то не думается. Бог знает почему. Другое дело рябиновка. Смотришь на нее, смотришь... да и выпьешь.

Предзимье в городе еще хуже зимы. Проснешься, когда только начинает светать, и чувствуешь себя молекулой, которую насильно заставляют участвовать в броуновском движении. Тепла никакого, на улице мороз, а движение им подавай. В соседних домах уже и окна зажглись, кому-то уже стучат в дверь туалета, сообщая, что он здесь не один – есть еще жена, дети, мама, кошка, наконец, лоток которой... у кого-то шипит яичница на сковороде, кто-то включил телевизор, чтобы посмотреть зачерствевшие вчерашние новости, кто-то уже успел выронить из сонных негнущихся рук хлеб с маслом на выстиранные вчера джинсы, кто-то еще спит с открытыми глазами и думает, зачем от мирных нег и дружбы простодушной... И никто при этом поступательные, вращательные и толкательные движения молекул жены, детей, мамы и кошки не отменял, никто не отменял столкновения, соударения, синяки, обиды, слезы...

Тут хорошо бы как-то красиво свернуть на то, что придет зима, что зимой хорошо сидеть и пить глинтвейн или капучино в каком-нибудь уютном кафе, есть пирожное картошка, что скоро елка, новый год, шампанское, подарки, что снег пушистый, что жизнь в теплых странах однообразна и скучна, что водка там теплая, что те, кто каждый день не ходят на работу, лезут на стены от безделья, что мороз бодрит, а если не свернуть, то через несколько дней упрешься в полгода стужи, снега, противогололедного реагента, насыпанного старательными дворниками даже в карманы зазевавшимся прохожим, черной слякоти под ногами, в промерзшие до самых кончиков усов троллейбусы, в хронический бронхит, хронический недосып и хроническое безденежье, в бесчисленные и бессмысленные подарки каким-то малознакомым людям, о которых известно только то, что они в прошлом году подарили жене набор кухонных разделочных досок, в осыпавшуюся к концу января елку, в холодную чебуречную, в теплую водку, слипшиеся пельмени и растворимый кофе, в тепловую смерть твоей вселенной, которая обычно наступает в первых числах марта перед тем, как снег так и не начнет таять.

Осеннее утро. Сквозь барабанную дробь дождя по подоконнику, сквозь сон, сквозь запах кофе прорывается как гвоздь сквозь барабанную кожу истошный крик ребенка, которого тащат мимо дома в детский сад. И сразу, точно не было этих пятидесяти пяти лет, вспомнился рыбий жир, отвратительная жидкая манная каша с комками, стихи когда был Ленин маленький с кудрявой головой, новая цигейковая шуба Маринки... Господи, как же я мог забыть... ведь я на ней обещал жениться! Или на ее сестре Нинке... Или на них обеих – ведь они были близнецами...

Летние вечера в деревне бывают ужас какими долгими, скучными и душными. Смотреть на то, как солнце садится за холмы на том берегу ручья, как оно золотит края облаков, как отставший теленок семенит за возвращающимся стадом, как пастух... вчера уже смотрели. И позавчера. Разговаривать о поливе огурцов... вчера уже говорили, говорили, а позавчера во сне чуть не... От выпитого чая булькает где-то в ухе. Губы, сколько их ни облизывай, сладкие от варенья.

Совсем другое дело – зимний вечер. Сядешь на старый скрипучий детский стульчик перед печкой и не заметишь, как просидишь до самой полуночи, разглядывая отблески пламени и бегущие по давно выцветшим обоям тени. Чего только в этих отблесках и тенях не увидишь – и летний вечер, и солнце, садящееся за холмы на том берегу ручья, и теленка, и пастуха, и даже губу закусишь, вспоминая, как прошлым летом слизывал варенье... а они все равно сладкие и улыбаются еле заметно то одним уголком, то другим.

Ночью подморозило, и к утру за околицей сгустился такой туман, что в нем образовались белые дыры, в которых все точно так же, как и в черных, но наоборот. Подойдешь к такой, а из-за горизонта событий то выбегут и бросятся врассыпную заиндевшие кусты пижмы, то вылетит ворона, то проковыляет почерневший от времени телеграфный столб с одной расколотой фарфоровой чашечкой, то гордо прошагают мимо усыпанные снегом сосны, а то выплывет старая сельская церковь, кренясь на полуразрушенный бок, который все никак не заложат кирпичом – то денег нет на кирпич, то деньги есть, но мало, то денег в самый раз и кирпич куплен, но некому класть, то есть кому, но уже купленного кирпича след простыл. Сами же купили, сами аккуратно сложили, даже толем прикрыли, и еще вчера он был, а ночью... подморозило, и к утру за околицей сгустился такой туман, что в нем образовались белые дыры.

По пустынной улице едет машина с громкоговорителем и призывает нас не выходить из дома без нужды, соблюдать социальную дистанцию, не заходить за черту в магазинах и на почте, носить маски... Правильно все машина говорит, но почему-то такое ощущение, что не договаривает про немедленную сдачу оружия, про выдачу евреев и комиссаров, оппозиционеров, либералов, иностранных агентов, про укрывателей, про... Конечно, машина этого никогда не скажет, но наверняка думает.

Дождь кончился. На концах травинки блестят капли по четверти и даже по половине карата. Суматошно летающие над незабудками молочно-белые замшевые и полупрозрачные мотыльки стали еще прозрачнее и то растворяются в воздухе без остатка, то вдруг выпархивают из него целыми роями. Незабудки голубеют еще пронзительнее, еще невиннее – точно глаза у влюбленных до гробовой доски детей, когда они безотрывно смотрят друг на друга и верят, что только поцелуются и больше ни... Из зарослей травы выглядывают крошечные белые пятилепестковые полевые фиалки с цветами не больше ногтя мизинца. На самом большом лепестке желтое пятно размером в две булавочные головки, а на этом пятне восемь черных полосок длиной по два или по три миллиметра каждая, а по одной из полосок ползет перепачканное в фиалковой пыли совсем уж микроскопическое бесцветное насекомое без всякого названия с прозрачными лапками и крыльями, при взгляде на которое почему-то всплывает в памяти строчка из Брюсова «быть может эти электроны миры, где пять материков»... На самом деле никакого Брюсова, конечно, не вспоминаешь – просто прошепчешь про себя «у Бога всего много» и пойдешь себе дальше по тропинке через поле, вслед за одуванчиками, которые поднимаются по пологому склону холма прямо к солнцу.

Мне всегда нравились маленькие комнаты. Не люблю больших. Мне там неудобно. Всегда стремлюсь забиться в какой-нибудь угол. На даче мой кабинет устроен в комнате площадью в четыре квадратных метра или около того. В Москве у меня есть большой письменный стол и большой монитор, но я сижу на лоджии, где у меня маленький угол с маленьким столиком. Видимо, мои предки были хоббитами (видимо, и у Толкиена были такие же отклонения). Мне еще и мансарды нравятся с их окнами в потолках, но больше всего люблю я пароходные каюты, поездные купе и дома на колесах. В них мне уютнее всего. Все проплывает, проезжает и пролетает мимо, а я сижу у окошка (тоже небольшого и круглого, как иллюминатор в каюте) и пью чай. Я даже не знаю, что мне нравится больше – сама каюта или возможность проезжать мимо. Наверное, этому есть какое-то научное объяснение. Дети, кстати, у меня нормальные. Их не тянет в маленькие помещения. Что-то люди в белых халатах по этому поводу говорят, но что...

Идешь по полю, а в нем что только не цветет – и горицвет кукушкин, похожий своими нежно-розовыми продолговатыми лепестками на растрепанные девичьи мечты после их столкновения с действительностью, и куриная слепота – такая желтая, что от нее слепнут не только куры, но и петухи, и голубые колокольчики, от которых зной звенит еще сильнее, и полевая гвоздика, в просторечии именуемая часиками, и... взгляд приковывает почему-то высохший, скрюченный прошлогодний борщевик в рост человека. Стоишь и смотришь как замороженный на то, как его ветром наклоняет то в одну, то в другую сторону, как шевелятся хрупкие мертвые серые ветви – того и гляди сломаются. Кроншнеп летает над болотом на дальнем краю поля и кричит, кричит так пронзительно, точно его вот-вот... или тебя, и он это предчувствует, но сказать не умеет.

Возможен ли русский пейзаж без церкви? Без маленькой и приветливой, аккуратно побеленной, со свежавыкрашенным зеленым или голубым куполом, или большой краснокирпичной и сумрачной с полуразрушенной колокольней, с приходом из пяти или шести стариков и старушек, с многодетным, быстро хмелеющим от одной рюмки деревенского самогона батюшкой в потертой рясе, с детишками, поющими на клиросе «иже херувими»... Возможен, конечно. Если Бога нет, то все возможно.

...вдруг ромашки – множество маленьких, еще зажмуренных, с ресничками в кулачок, по которым не то что будущее, даже прошлое угадать нельзя, и десяток таких огромных, размером с глазунью, что начинаешь обрывать... хотя какой смысл обрывать, если все это было две... нет, три жизни назад и уже поросло таким непроходимым и дремучим быльем, сквозь которое не видно почти ничего, кроме пыльной трамвайной остановки с черной надписью «Игорек – лох» на железном боку, маленькой рыжей с подпалинами таксы у нее подмышкой и половинки зеленого яблока, которую она почему-то сунула тебе в руку, когда запрыгнула вместе с собакой на трамвайную подножку и уехала далеко-далеко в будущее, где у нее теперь внук-вундеркинд, играющий на скрипке Моцарта, квартира то ли в Болгарии, то ли в Черногории и левая коленка, ноющая к непогоде... нет, это у нее левое плечо, а у тебя правая коленка, след от помады, оставшийся на яблоке и никак не проходящее ощущение того, что ты как был Игорьком, так и...

Полянка в сосновом лесу маленькая – поставить на ней складной стул, повесить на сук рюкзак, привалить к стволу дерева велосипед, достать термос с чаем, приставить его к ножке стула и... все. Есть еще место для небольшой, размером с почтовый конверт, лужицы, оставшейся после вчерашнего дождя, десятка упавших шишек, трех ягод земляники, ветки колокольчиков цвета остывших воздушных поцелуев, гудения стрекозы, тонкого, как первая струна на гитаре, щебета какой-то желтогрудой птички, выдержанного, как коньяк скрипа старой сосны и... точно все. И еще маленький лоскут голубого неба там, в верхушках бесконечных сосен. Если смотреть сверху, то все это напоминает детские секретки в ямках, накрытых осколком стекла, которые в моем далеком детстве девчонки составляли из сорванных цветов, конфетных фантиков, серебряной фольги и целлулоидных пупсов, а мальчишки разоряли. Так и хочется крикнуть вверх:

- Господи, ну протри ты очки и посмотри на этот секретик! Видишь, посреди всей этой Твоей красоты... Нет, Господи, не мышь – она просто пробежала по своим мышиным делам... и не стрекоза – эта жука поймала и жрет так, что только хруст его хитиновых

надкрыльев стоит... и не птичка – она так надрывно кричит потому, что ее не слушаются птенцы... и не паутина – она просто блестит на солнце... Нет, Господи, и не масленок. Да что ты – молодых маслят, что ли, не видел? Самый обычный масленок, с сосновой иглой, прилипшей к шляпке и еще один с муравьем, и еще три точно таких же – маленьких, крепких, с лоснящимися... Подожди, Господи, я их сейчас соберу. Сейчас, сейчас... Я только хотел сказать Тебе, что это я сижу на складном стульчике и пью чай с коньяком. Вернее, пил, пока не увидел...

Вечером лил проливной дождь, лужи выходили из берегов, вода в них кипела и дымилась, луна побледнела, покрылась пятнами и из последних сил желтела сквозь мрачные черные тучи, а собака залезла в сени, свернулась клубком на половике, о который вытирают ноги, и делала вид, что ей страшно. На веранде протекала крыша, и капли с деревянным стуком падали в пластмассовое детское корыто. Варили абрикосовое варенье, и его запах растекался по всему дому. Тебя посадили в угол кухни снимать кожицу с обжаренного миндаля. Миндаль перед этим ошпарили кипятком и велели голыми пальцами снимать с него кожицу. Ты снимал, снимал, тебе надоело, ты задремал и сквозь дрему кричал до хрипоты, что в гробу видал жареный миндаль, а очищенный даже в двух гробах, и абрикосовое варенье, и все это невыносимое мещанство и чревоугодие – варить десятки банок абрикосового варенья на зиму, да еще и с миндалем, да еще и со снятой кожурой, вместо которой ты мог бы что-нибудь изобрести, написать роман или читать стихи Катуллы и даже начал «Пьяной горечью Фалерна чашу мне наполни, мальчик...», в том смысле, что всхрапнул и тонко присвистнул носом.

Утром проснулся, а закрытые и чуть теплые банки с вареньем стоят на столе. Крышки у них немного втянуты внутрь. Солнечные лучи просвечивают банки насквозь. Они янтарные, золотистые, лимонные, шафранные, немного канареечные и на просвет выглядят так, как выглядят мечты выпускниц средней школы о будущем, которое их ожидает за воротами школьного двора, или как мечты молодожёнов перед первой свадьбой, или как память о тех мечтах – сладкая и немного горькая, как миндаль, который ты очищал вчера от кожицы.

...и уже перед тем, как лечь спать в половине третьего утра, случайно глянешь в окно и увидишь там серые ветки рябины, светло-серое небо в темно-синих облаках, бледные как смерть звезды в прорехах между облаками, полоску тумана, мало-помалу уползающего в овраг, заросли бузины, ивы, растущие по берегам ручья, бескрайнее поле на другой стороне оврага и на самом краю этого поля, где-то уже на границе с землями антиподов, мерцает из последних сил тусклый желто-красный огонек. Как представишь лампочку под жестяным абажуром на проводе, которая качается на ветру и отбрасывает длинные черные тени на какой-нибудь покосившийся дом, на сарай, на давно опустевшую и заросшую крапивой собачью будку, на всю твою жизнь, как всей кожей почувствуешь тонкий железный скулеж ржавого крюка, на котором лампочка подвешена... такая возьмет тоска, такая охватит безнадега, что всю ночь будут сниться бескрайнее серое поле, ивы и кусты бузины, с которыми ты идешь и идешь по нему по колено в тумане, по тлеющим звездам, по еще теплым петляющим следам только что прошедшей здесь жизни, и не только никак не можешь ее догнать, но даже и понять в какую сторону она ушла.

Еще гроыхает где-то далеко, за тридевять земель, еще воздух не сгустился и не отяжелел так, что придется им не дышать, а пить, еще знойно звенят насекомые, еще поют свои рассыпчатые бисерные песни жаворонки, еще тучи только начинают наливаться синими, фиолетовыми и черными чернилами, а маргаритки уже собирают свои бело-

розовые реснички в крохотные, как у новорожденных, кулачки, зажимаются и делают всем темно.

Жарко. На веранде никого нет, кроме собаки, которая спит в старом продавленном кресле, придавив лапой замусоленного резинового ежика в круглой малиновой шляпе. По шляпе ежика ползет муравей. На столе, рядом с которым стоит кресло, лежат только что сорванные абрикосы, две сливы, старая газета с разгаданным кроссвордом и огрызок простого карандаша. Собака вздрагивает во сне и шевелит лапой ежика. Муравей, ползущий по малиновой шляпе ежика, замирает, но через несколько секунд снова ползет. Ветра нет, но газета и полосатая зеленая маркиза шевелятся. Время не идет, но уже час или полтора колеблется возле двенадцати часов. Собака в своем бесконечном сне бежит и бежит за ежиком. Ежик бесконечно убегает и убегает. Упорный муравей ползет и ползет по экватору шляпы ежика. Жизнь... никуда не бежит. Она набегалась, забралась в кресло и дрыхнет без задних ног. Торопиться ей некуда – до обеда еще часа два, а то и все три. Если конечно время перестанет колебаться, тронется с места и не мешкая пойдет к вечеру.

В самом конце июля или в начале августа, когда никакой осенью и не пахнет еще, выйдешь вечером в поле, посмотришь, как ветер разметывает по небу остывший серый пепел облаков, как сидя на ветке репейника клюет носом засыпающий жаворонок, которому завтра ни свет ни заря вставать, как мокрая и тяжелая от упавшей холодной росы луна медленно катится по краю поля, пытаюсь взобраться повыше на холм, чтобы попробовать с него... и внутри что-то еле слышно, но очень настойчиво запоем: «Умереть, уснуть. Уснуть! И видеть сны...» быть может... это кузнечики снаружи... Точно кузнечики. И никто не может велеть им перестать. Даже если очень захочет.

...и уже перед сном, который черт знает где шляется, заставляя себя ждать, от скуки начинаешь аккуратно разбирать длинный июльский день на отдельные части – сначала на крупные вроде солнца, грозы, мычания коров, возвращающихся в деревню на вечернюю дойку, ругани пастуха, облаков, уплывающих на закате за горизонт, огромного букета флоксов в глазурированном глиняном кувшине, бутылки сладкого испанского хереса «Дон Хименес» и неподъемного арбуза; потом на части помельче – малосольные огурцы, рюмку, полную тягучего сладкого испанского хереса «Дон Хименес», потрепанный том «Приключений Оливера Твиста»; потом на совсем маленькие – двух лягушат неизвестно как попавших в бочку с дождевой водой, половину рюмки испанского хереса «Дон Хименес», горсть черешни, заросли маргариток в поле, соцветия пижмы и лугового крестовника у проселочной дороги и, наконец, на совсем микроскопические – черную шестиногую с прозрачными крыльями запятую, сидящую на тычинках цветка крестовника, две темно-вишневые капли испанского хереса «Дон Хименес» на белой футболке и эфемерных, ростом в два-три слова Оливера Твиста, Феджина, Билла Сайкса и Нэнси. После того как все разобрано и разложено по кучкам, начинаешь собирать все обратно, но получается плохо – лягушата и черная шестиногая запятая с прозрачными крылышками оказываются в рюмке с хересом, коровы ругаются так, что флоксы в кувшине вянут, откуда-то выбегает мышь с преогромными усами, которой не было в списке частей, и начинает с оглушительным хрустом поедать огурцы и запивать их хересом с лягушатами, а черный шестиногий с прозрачными крыльями пастух жалобно мычит и вместе с Оливером Твистом, Феджином, Биллом Сайксом и Нэнси уплывает за горизонт... Тем временем сон, постояв рядом, собирается и уходит. Ты просыпаешься и понимаешь, что скоро осень. За окнами август и от дождя потемнели кусты.

Ближе к вечеру решил пойти по стопам Пришвина и Бианки. Уложил в рюкзак фотоаппарат, планшет, термос с крепким чаем, черного хлеба с салом, телефон в котором есть программа, определяющая растения, заправил в носки джинсы, чтобы носки при ходьбе в резиновых сапогах не сползали, повесил на плечо складной брезентовый стул в чехле и пошел в поле смотреть на кладовую солнца и описывать закат. У нас здесь ни еланей, ни палестинок. Болото в округе всего одно, маленькое, топкие места, которые елани, в нем по колено, не глубже, да и идти до этого болота далеко. Угвздаться, конечно, можно, но клюквы там нет. Да и какая в начале августа клюква. Кулики водятся, бекасы. Ну, то есть должны быть, раз болото, а там кто их знает. Время от времени кто-то над камышами летает и кричит пронзительным нечеловеческим голосом как та коза, а кто на самом деле... Волков тоже нет. Лет десять назад, зимой, я видел в поле лису – серую, худую и страшно облезлую. Точно напала на нее в лесу дикая моль и поела большую часть меха. Увидела лиса меня и растворилась в воздухе. Зато мышей много – зимой весь снег на поле исчерчен полосками тонких мышиных хвостов.

Заброшенная дорога, по которой я пошел, идет от деревни через поле к лесу. Ну, как заброшенная – по ней зимой ездят богатые дачники на гусеничных снегоходах, а летом катаются на квадроциклах, но все это редко, да и богатых дачников у нас в деревне раз-два и обчелся. Раньше ходили местные в лес за грибами и ягодами, но теперь перестали – кончились в ближнем лесу грибы и ягоды. Дорога почти вся заросла бурьяном, сурепкой, репейником, пижмой, полевыми маргаритками, пустыми пивными и водочными бутылками, полуистлевшими ботинками без шнурков, заржавевшими вконец запчастями от тракторов и всем тем, чем у нас в средней полосе зарастают заброшенные проселки. Отошел я по ней километра на три, забрался на холм, разложил стул, уселся на него, достал планшет и стал, пока солнце еще не зашло, описывать все, что вижу вокруг – тонкие резные лепестки полевых маргариток, томительные песни кузнечиков, муравьев, изо всех сил спешащих домой в свои муравейники, розовые цветы иван-чая с белыми завитками пестиков, попрыгуний-стрекоз, все еще поющих вместо того, чтобы готовиться к зиме, репейники с фиолетовыми игольчатыми цветами, торчащие то тут, то там исполинские борщевики, коричневых лягушат, скачущих в мокрой траве, желтые, с прозеленью, соцветия пижмы, божьих коровок, замеревших на кончиках травинок, воздух, который перед закатом становится холоднее, влажнее и наполняется не то чтобы тоской, но сожалением Бог знает о чем и... чаем с хлебом и салом.

Деревня вроде не очень близко, но от нее через совершенно пустое поле долетает каждый чих. Какой-то мужик накопил гвоздей и давай их заколачивать как ненормальный. Десять минут колотит, двадцать минут колотит, час колотит. Все метафоры мне своим молотком, гад, отбил. Дети орут и хохочут, у кого-то визжит циркулярка... Между тем солнце садится, кузнечики умолкают, стрижи улетают в свои норки, розовые облака краснеют, багровеют, и посреди всего это я сижу, изображая Пришвина и Бианки... Собаки в деревне лают так, как будто ~~медведя~~ пьяного тракториста обложили в кабине трактора и ждут его жены с рогатиной. Маргаритки закрываются на ночь. Комары сатанеют. Жалко нет колокольного звона – он бы сейчас очень был к месту. Церковь есть, но полуразрушенная. На колокольне не то что колоколов – даже и креста нет, но какую-то часть церкви местные жители смогли обустроить, и в ней по церковным праздникам идут службы. Прихожан – три с половиной местных старушки и несколько дачников. Приезжает к ним на «буханке» служить из соседней деревни батюшка. Большой, надо сказать, оригинал. Рассказывает в своих проповедях, что в каждой синагоге и мечети у входа под полом зарыта Библия, чтобы, значит, мусульмане и иудеи ее попирали ногами. Старушки верят, а дачники морщатся, но на службы ходят. Не жаловаться же в самом деле на него из-за этого. Куличи и яйца на Пасху он освящает исправно. Да и кому жаловаться-то? Иудеев и мусульман здесь отродясь не было. Был, правда, пастух из таджиков, которого деревенские наняли, отчаявшись своего увидеть трезвым. Так его

коровы с овцами не понимали. Он матом не умел ругаться. Ругался по-своему, но кто коровам переводить-то будет? Вот они и забредали куда ни попадя. Кое-как лето проработал и уехал. Говорят, что одна женщина после его отъезда не то чтобы скучала, а... Ну, да не об ней речь. Теперь пастух опять свой. Не тот, который раньше, а другой такой же, и говорит на языке, понятном скотине.

Прошло полчаса или больше. Солнце стало багровым и зашло наполовину за горизонт. От пронзительного стрекотанья кузнечиков засвербело в носу. Все муравьи давно сидели по домам, грызли лапки сушеных кузнечиков и пили сладкий сироп, надоевший щекотанием тлей. Облака, там, где их раздувал ветер, еще тлели, а там, где нет – превратились в серый с белым пепел. По направлению к лесу пролетели громко каркая две вороны. Чай и хлеб с салом кончились. Настоящий Пришвин закурил бы сейчас трубку, набитую крепким деревенским самосадом, но я бросил курить лет десять назад. Настоящий Бианки сейчас достал бы из кармана чекушку, но я... Если бы у меня было ружье, то я сейчас с удовольствием промахнулся бы по какому-нибудь зайцу или кабану, но ни ружья, ни трубки, ни чекушки у меня с собой не было. Даже удочек с собой не взял, чтобы потом рассказывать, какая щука сорвалась с крючка. Я посмотрел вокруг – все было описано. Неописанными остались только заросли кашки, какие-то серые метелки и зеленые зонтики, которых не определяла даже программа по определению растений в телефоне, шум машин на шоссе за холмами, запах репеллента от комаров и смс, в котором мне предлагалось немедленно, по его получении, явиться к ужину. Я встал, убил на шее комара, сложил стул, подтянул носки в сапогах и пошел домой.

Напишешь «Старый пруд», и будет начало стихотворения. Напишешь «Пруд старый», и будет проза, начало августа, маленький пруд, размером с три или даже четыре суповых тарелки, заросший таким толстым ковром ряски, что лягушата по нему скачут аки посуху, стрекоза, висят над одним, а через мгновение над другим местом, густая темно-зеленая бархатная тень в пятнах солнечных зайчиков и только неизвестно откуда появившиеся желтые березовые листья, при том что вокруг все зеленое, да беззаботно порхающие разноцветные бабочки, начинающие мало-помалу желтеть, подолгу сидеть сложа крылья и без всякой цели разворачивать и сворачивать свои хоботки, как бы желая что-то сказать, но что...

Напишешь «осенний дождь», и не знаешь про что писать дальше – то ли про лужи с плавающими в них листьями, то ли про россыпь каштанов в пожухлой траве, то ли про нахохлившегося воробья, сидящего под застрехой, то ли про женщину с ребенком, мокнувших на остановке в ожидании автобуса, то ли про куда-то бредущую с поджатым хвостом собаку, то ли про засыхающий кактус на подоконнике, то ли про бабочку, спящую между рамами, то ли про паутинчатую пустоту в голове с бабочкой, кактусом, собакой, ее поджатым хвостом, воробьем, автобусной остановкой, женщиной, ребенком и перекатывающимися из угла в угол каштанами, то ли перевернуться на другой бок и снова стать бабочкой, изо всех сил улетающей от воробья.

Напишешь «опавшая листва», и дальше вообще не стоит писать – ни про моросящий дождь, ни про бледное, анемичное солнце, выглядывающее сквозь серые тучи, ни про мокрые лепестки отцветших хризантем и астр в парке, ни про пламенеющие кисти рябин, ни про лежащие в траве антоновские яблоки, ни про прозрачный осенний воздух, ни про ледяную синеву и перистые облака, уплывающие к югу, ни про горький дым, ни про свежеекрашенную скамейку в парке, ни про тонкие озябшие пальцы, пахнущие жареными пончиками, ни про легкую и светлую печаль с терпким привкусом красного

сухого вина, ни про остывшие и немного замасленные воздушные поцелуи, ни про бутылку отвратительного коньяка московского разлива, которую ты выпил потом, закусив горстью леденцов от кашля, ни про такой же, как и коньяк, скандал, устроенный дома на пустом месте... а вместо этого пойти спать и проснуться ближе к весне – исхудавшим, с шестимесячной щетиной, полностью потерявшим память о событиях прошлой осени, очумело бродить по квартире, сосать от голода пустые бутылки, грызть сухие макароны и звонить на работу не отвечающей жене.

Осенние сумерки. По пути домой случайно забредешь в затканную паутиной пустоту, в которую никто не заходил лет сто или больше, а в ней высохшие бурые соцветия пижмы, позеленевшая от плесени, изъеденная мышами до дыр луна, серое, плоское как блин облако, похожее на выцветшую тряпку. Пахнет камфарой, сладкой пылью, и кто-то невидимый еле слышно то ли скулит, то ли подвывает, то ли жалуется, но на что... непонятно. Ни одного слова не разобрать. Постоишь, прислушиваясь к себе, минуту или две... и пойдешь на шум машин к шоссе, прибавив шагу и не оборачиваясь.

Нет ничего лучше грозы в деревне – сначала бежишь со всех ног домой из лесу по проселочной дороге, потом сушишься у разведенного наскоро булерьяна, потом пьешь горячий чай с карамельками «снежок», привезенными из города, потом, после очередного удара грома, в доме отключается электричество, потом ставишь на походную газовую плитку чайник и при свете свечки, найденной в буфете, ешь бутерброды с черным хлебом и любительской колбасой, соленые огурцы, засахаренное яблочное варенье, шпроты, сухари с изюмом, карамельки «клубника со сливками», читая при этом старинное издание «Опасных связей», шепча про себя обольстительные змеиные письма виконта де Вальмона Сесиль де Воланж и облизывая сладкие липкие пальцы для того, чтобы перевернуть страницу.

Это, конечно, если вы девушка лет двадцати, приехавшая на дачу дышать свежим воздухом, собирать грибы, составлять букеты из полевых цветов, пугаться при виде коров, осторожно, зажимая нос, гладить телят и мечтать глядя на луну, на старый пруд, на цветущие хризантемы, на тракториста, несущего на квадратном плече задний мост, о чем-нибудь таком... или этаким. Если же вам не двадцать и даже не сорок лет, если вы мужчина, у которого дом в деревне на двадцати сотках, огород, теплица с помидорами и болгарскими перцами, куры-несушки и жена, то вы первым делом побежите заводить генератор, чтобы не потек холодильник, в котором лежат замороженные на зиму грибы и ягоды, а потом подставлять таз под ту дыру в ~~фанеле~~ потолке, которую в прошлом году прогрызли мыши, которую вы до сих пор, хотя вам не один раз было говорено, не заделали и через которую обычно капает в сильный дождь вода на покрывало в спальне, или сначала таз, потому что на покрывало уже натекла лужа, а потом...

Только напишешь «бабье лето», а оно уже и кончается, а ты еще и ни слова не написал о нем из того, что раньше не было бы написано другими или даже тобой самим. Берешь пару дней в счет отпуска, едешь на природу, бегаешь в панике по полю, хватаясь за чистую и теплую лазурь, которая на него льется, за седые лохмы чертополоха, за еле слышное уже пение сонного кузнечика, за летящие по воздуху паутины и березовые листья, за почерневшие шляпки несобранных подосиновиков, в которых слизняки уже проели огромные дыры, за пронзительный писк какой-то крошечной птички, похожей на кофейную ложечку с крыльями, за скрип сосен, за остатки солнца в черной холодной воде зарастающего ряской пруда, за нарисованные рожицы на запотевшем оконном стекле дачной веранды, за треск бересты в печке, за шипение отсыревших дров, за клуб сизого

дыма, вырвавшийся из приоткрытой дверцы, за гудение ветра в трубе, за банку консервов «цыпленок с рисом и овощами», за рюмку водки, за еще одну и еще две... нет, три и думаешь, что исписался, что уже пора и закругляться, сажать чеснок под зиму, солить опята, покупать кефир по акции и читать подшивки старых номеров «Науки и жизни», что завтра утром на свежую голову нужно будет купить пива и еще раз внимательно... в конце концов не стихи, а проза, и тут можно посидеть, посидеть и... вообще люди живут всю жизнь без горячей воды, без аппендикса, Чехов жил и вовсе без селезенки, а уж без того, чтобы про паутинки, листья, грибы и кофейную ложечку с крыльями...

Ни ветерка. Облака не уплывают, но истаивают на глазах. Небо под вечер так пустеет, что в нем остаются только солнце и луна – такая бледная и такая исхудавшая, точно она три недели валялась где-то за горизонтом с высокой температурой и теперь в первый раз после долгого перерыва пытается забраться повыше над лесом и полем. От нее к солнцу через все небо медленно ползет самолет и, не долетев, тоже истаивает. Кузнечики поют так тихо, что слов в их песнях уже и не разобрать, а только понимаешь, что это не «К нам приехал наш любимый...», а другое, печальное. Смотришь в прозрачную даль, приставив ладонь козырьком ко лбу, и надеешься разглядеть там то ли растаявшие как дым мечты, то ли новые надежды, то ли маленьких, вставших на крыло, ангелов, которые об эту пору, в самом конце бабьего лета, летают вместе со стаями стрижей и ласточек, собирающимися на юг, но снизу не разобрать, кто это – то ли серафимы, то ли херувимы – видны только мелькающие между черными крыльями птиц пламенеющие в лучах закатного солнца ангельские крылья.

Полупрозрачный мотылек, мало-помалу растворяющийся в синеющем от холода воздухе; оцепенелое безмолвие, на миг раздвигаемое хриплым свистом крыльев летящей вороны и тут же смыкающееся снова; гроздь рябины, желтые листья и тонкие, ломкие черные сосуды веток, рассыпанные в гулкой и мучительной пустоте собственной головы. Осенние сумерки.

С каждым днем тишина все гуще. Это уже не легкая на подъем летняя тишина, которая может перетечь из одного места в другое или вовсе мгновенно испариться. Осенняя тишина еще не может застыть навсегда, но может стоять, не шевелясь на одном месте, несколько часов и даже целый день с утра и до вечера. Ее можно размешивать ложкой, как сметану. Мало-помалу в ней появится что-то стеклянное, прозрачное, и она начнет отвердевать. В середине октября, когда ударят первые заморозки, она зазвенит. Ее еще нельзя расколоть, как зимнюю, но уже можно поцарапать шорохом сухих опавших листьев, мышинным шуршанием, треском бересты в печи, повизгиванием собаки во сне, сделать в ней лунку каплями, падающими из крана на кухне, подвести под ней жирную черту жужжащей между рамами мухой, и подсветить выглянувшей из-за туч луной, которая превратит ее в безмолвие.

Ветра нет, только сухие былинки качаются, кузнечики не стрекочут, а ястреб, нарезающий круги в невообразимой вышине, делает это молча. Где-то у самого края неба или даже за его краем гудит самолет. Так тихо гудит, что может быть и нет его совсем, а гудит в ухе или внутри головы. Какого... ты гудишь, а? Не лечу я никуда, у меня в погребе тридцать банок лечо, сорок банок соленых огурцов и помидоров, тыкв, кабачков, засахаренного варенья с позапрошлых лет столько... У меня чеснок под зиму посажен, перекопаны все грядки, на картофельном поле посеяна озимая рожь, чтобы по весне на

нем не выросли васильки, у меня путевка в подмосковный желудочный санаторий в ноябре, купленная загодя за полцены, у меня таблеток от давления запасено на два года вперед, у меня... Что ты нервы мне свои гулом треплешь, сука? Ну что мне – пойти и напиться прямо сейчас, да?! Устроить скандал, разломать табуретку, которую сам же утром чинил, разбить фарфоровую лошадь на буфете, сказать все, что... а потом просить прощения, ползать по полу и собирать осколки лошади, чтобы их склеить?.. Или это не самолет шумит в ушах, а давление, и нужно принять таблетку и полежать...

Взять, к примеру, дядю Ваню...

Взять, к примеру, дядю Ваню и отправить его действующим лицом в советские пьесы. Не главным, конечно, а второстепенным. Пусть посмотрит на ангелов и небо в алмазах в «Днях Турбиных» или в «Беге» или даже в «Оптимистической трагедии». Нет, лучше в эти пьесы посылать подполковника и батарейного командира Вершинина, раз уж он для будущей жизни живет, работает, страдает и творит. Дядю Ваню в «Оптимистическую трагедию» посылать нельзя. Там его наверняка или посадят или вовсе застрелят как контру. Впрочем, и Вершинину тоже придется несладко. Что «Оптимистическая трагедия», что «Любовь Яровая»... Везде революционная матросня, комиссары с наганами и чекисты. Дядю Ваню лучше в «Покровские ворота» родным братом Хоботова. Как раз в той сцене, где он кричит Маргарите: «Я мог быть ученым, мог книги писать, а стал каким-то столоначальником, блохоискателем, сундуком». Или в «Утиную охоту»... Нет, туда страшно. Лучше в володинский «Осенний марафон». Целее будет. И потом вернуть его обратно в «Дядю Ваню». Напьются они на радостях с Астровым... Рассказов будет до утра, но Соня им не поверит – подумает, что привирает дядя спьяну. Хорошо бы еще Лопахина отправить в будущее. Стал бы он после этого покупать сад и строить дачи. Взял бы свои денежки Ермолай Алексеевич и уехал бы в Париж вместо Раневской.

Взять, к примеру, Пришвина. Или Нагибина. Или даже Ивана Сергеевича Тургенева. Все трое заядлые охотники. Все трое знают много разных охотничьих слов – вальдшнеп, косач, ягдташ, вечерняя тяга, манки, водка. И природных слов знают много – заволочь, треста, елань, бучило. И народных – портянки, чугунок, зипун, нагольный тулуп, загнетка, самогон. И все равно читать их описания природы скучно. Описаниями Пришвина и Тургенева детей и вовсе в школах пытаются. Природа Тургенева – холодная красавица, которая посмотрит на тебя точно рубль подаст и скажет: «Ну, посмотрел? На кроткий румянец зари, на ласково лучезарное солнце, на золотисто-серые с нежными белыми краями облака, посмотрел? Теперь иди, шурши по хозяйству. Борони, сей, отрабатывай барщину. Тут вон целая очередь из таких как ты. И всем нужно посмотреть. Господи, как я устала...*». Природа Пришвина еще и добавит: «Клюквы не забудь насобирать в туесок. И грибов. Осторожнее там. В бучило не наступи», а природа Нагибина спросит: «Настрелялся? Забирай своих уток и проваливай, охотничек. И рыбу забирай, браконьер. И пустые бутылки». Зато у Коваля достаточно всего лишь одной фразы о том, что «клюква лучше божьих коровок хотя бы потому, что она не двигается». И все. И ты влюблен по собственному желанию. Навсегда.

*Последнюю фразу она произнесет по-французски.

Идешь по залам, смотришь на картины и думаешь, что и этот замурзанный босоногий мальчик в живописных лохмотьях, и слепой старик, играющий на рожке, и

краснощекая молодуха с кувшином в руках, и белобрысый усатый капрал, глядящий на нее голодными глазами, и старый шарманщик, и девочка в красном сарафане, собирающая медяки в его фуражку с поломанным козырьком, и мировой судья с тремя подбородками, и охотники, стреляющие по тетеревиным выводкам, и охотники на привале, и толстый купчина с золотой медалью «За полезное» на бычьей шее, и его жена, ненароком раздавившая пудовой грудью воробья, присевшего на стол поклевать кусочек баранки, и гитарист-бобыль, и вороной жеребец, гарцующий под драгуном, и сам драгун с завываемым чубом, и две томных дамы с кружевными зонтиками, и мальчик лет семи в белых шелковых чулках и синем бархатном камзолчике с золотыми пуговками, и даже крошечная, похожая на смешное и лохматое недоразумение, собачка, застывшая с поднятой ногой у беседки-ротонды в Павловском парке – все они умерли. Даже те, кто никогда не существовал.

Писатель приходит к читателю. Как больной приходит на прием к участковому врачу – так и он приходит. К психиатру, конечно, а не к терапевту или гастроэнтерологу. Приносит свою историю болезни в виде рукописи или в виде уже переплетенной книжки. Врач, то есть читатель, устал как собака, у него сегодня этих историй болезни прошло перед глазами... На писателя он не смотрит – сразу берет в руки текст и начинает читать. Вот как врач читает историю болезни и смотрит анализы – так и он читает то, что ему принесли. В это время писатель, которому не сидится на стуле, начинает сам рассказывать о своем детстве, о том как написал свое первое стихотворение или рассказ про собачку или подобранного котенка, как записал его в собственноручно переплетенную крошечную тетрадочку, как украсил поля нарисованными розочками, как потом ходил в кружок юных писателей при районном доме пионеров, какие сволочи редакторы, какие сволочи издатели, какие сволочи другие писатели, какие сволочи заседают в жюри литературных премий, какие сволочи те, кому эти премии достаются, какие сволочи другие писатели, какие ...

В это время кто-то открывает дверь и с криком «я только спросить!» бросает в кабинет огромный, увесистый том. Дверь быстро захлопывается. В коридоре крики, страшная, площадная ругань и рыдания, переходящие в тихий, невыносимый скулеж.

...сволочи критики, какие сволочи другие писатели, какие сволочи другие писатели, какие вообще все сволочи... и при этом ногой в давно нечищенном ботинке пытается затолкать брошенный том под накрытую клеенкой кушетку. Читатель, не обращая внимания на посторонний шум, продолжает читать.

Проходит еще пять минут, и под дверь просовывают листок с написанным круглым женским почерком стихотворением. Потом еще один листок... Наконец читатель заканчивает читать, вытаскивает авторучку из кармана... потом прячет ее в карман, открывает рот... закрывает, тяжело вздыхает, возвращает рукопись писателю, тяжело вздыхает и хочет крикнуть «санитары!», но вместо этого тихо, не глядя ему в глаза, говорит «следующий!».

Всем хороша электронная книга – и удобна, и дешевле бумажной, и вообще за ней будущее, но... она никогда не бывает старой. Ее невозможно зачитать до дыр. На ней нет следов, оставленных другими людьми. Нет подчеркиваний, нет заметок на полях, нет рожиц, которые любят рисовать дети, нет, наконец, следов чужих пальцев. На ней никто никогда не напишет «Мише в день его рождения от одноклассницы» или «Анне Сергеевне от Дмитрия Дмитриевича на память о двух незабываемых неделях в Ялте». Никто не вложит в нее ни засохшего цветка, ни счастливого трамвайного билетика, ни вышитой закладки, ни старинной поздравительной открытки, на обратной стороне которой будет приклеена почтовая марка и выцветшими бледно-голубыми чернилами будет написано

«Привет из Ленинграда» или «Кисловодск. Бювет Желябовский. Сима! Я стою пятый слева во втором ряду в синем плаще-болонье, который мы купили мне перед отпуском, но нас с Юрой не видно из-за спины Зинаиды Павловны». Ты читаешь электронную книгу в полном одиночестве. У нее нет ни прошлого ни будущего. Только настоящее. Собственно и книги нет никакой. Есть только текст. Это удобно для тех, кому нужен текст. Мне, к примеру, нужен только текст. Мне не нужна обложка, не нужен шелест страниц, но от счастливого трамвайного билета или открытки с видом Ленинграда я бы не отказался.

В Москве я живу в общей сложности лет двадцать. Поллюбить ее так и не смог, но притерпелся. Она хорошая, может, и очень, но не моя. Я даже могу обидеться, когда говорят плохо о москвичах, но... как был провинциалом – так и остался. Не люблю я больших домов и широких проспектов. Я, кстати, и деревню не жалую. Для меня рай – это маленький уездный или вовсе заштатный городок. Неширокие улицы и совсем маленькие переулки, кое-где поросшие травой, многочисленные тропинки, небольшие частные домики, старые двух- и трехэтажные довоенные или купеческие дома, палисадники, пионы, георгины, река, от которой по вечерам тянет свежестью, плотва и уклейки, которых вывесили вялиться на бечевках во дворах, кошки, которые ходят сами по себе или сидят на заборах, высматривая как бы украсть рыбу, люди на скамеечках перед домами, тихие бесконечные разговоры, которые можно оборвать в любом месте и начать с того же места хоть через неделю, шашлычные дымки из-за заборов, дети, играющие в казаков-разбойников, катающиеся на трехколесных велосипедах, бегающие наперегонки с собаками, маленький кинотеатр, в котором показывают только комедии шестидесятых годов, запах свежее испеченного хлеба, которым пахнет из городской пекарни, старое, заросшее бузиной кладбище с замшелыми и позеленевшими мраморными надгробиями, привидениями и каменной часовней времен Алексея Михайловича, в которой по ночам кто-то страшно шуршит, трагически шепчет и невыносимо жалобно стонет.

И непременно краеведческий музей, расположенный в старинном купеческом или дворянском особняке. Стены в нем толстые – все подоконники можно уставить цветочными горшками и утро начинать с того, чтобы поливать герани с фикусами и монстеры с традесканциями отстоявшейся водой из большой позеленевшей изнутри пластиковой бутылки. Чтобы на рабочем столе никаких компьютеров, а только чернильный прибор, стопки книг и рукописей, чтобы в книгах бумажные закладки, которые переключать каждое утро на новые места, чтобы каждое утро подчеркивать остро отточенным карандашом новые места, а старые стирать. И каждое утро писать себе новые напоминания на цветных бумажках и разбрасывать их по всему кабинету. Много лет сочинять многотомную историю этого городка. В самых мельчайших подробностях. Одно описание платья жены первого городничего пусть занимает целую страницу, а то и две. Может быть даже написать отдельную статью об этом платье, о цветочных гирляндах, которыми расшита атласная юбка, о батистовых ангажантах, о меховой выпушке, о воланах и отправить ее в «Вестник второй половины восемнадцатого века» или отыскать в запасниках музея старинную карту из бересты, на которой красным крестиком отмечен клад из золотых арабских динаров, который зарыли в этих местах разбойники Емельки Пугачева, когда отступали и разбежались под натиском правительственных войск, или нарисовать план разрушенного дома, в котором родился Павел Иванович Чичиков или останавливался Гоголь, когда плыл из Петербурга в Рим на пакетботе «Святой Петр», найти в этом доме обрывок письма Виссариона Григорьевича к Николаю Васильевичу, или к Павлу Ивановичу, или к ним обоим с тремя тщательно зачеркнутыми словами, или... ничего этого не делать, а просто смотреть в окно на копошащихся в пыли кур, на щенка, играющего со старым рваным ботинком, повторять про себя «В Москву, в Москву, в Москву!» и никогда в нее не уезжать.

Иной раз копаешься в истории какого-нибудь заштатного городка Рязанской или Вологодской губернии, рассматриваешь в лупу давно поросшее быльем, но все еще кровоточащее и думаешь – что же было хорошего... Сначала воевали между собой, потом пришли монголы с татарами, потом терпели их и в промежутках воевали между собой, потом растворили в себе татар и началась опричнина. Терпели ее, висели на дыбах, варились в кипятке и клали головы на плахи. Потом опричнина кончилась и началась Смута, когда пришлось терпеть поляков, казаков и успевать еще воевать между собой, потом прогнали поляков, растворили казаков и стали раскалываться. Убегали в дремучие леса и заживо горели в срубках. Потом стали воевать со шведами, турками, австрийцами, поляками,дохнуть как мухи на строительстве новой столицы и служить в армии, пока не убьют или не забьют шпицрутенами. И при этом успевали гнуть спину на барщине, приносить оброк, перебиваться с хлеба на квас, терпеть, когда тебя секут на конюшне или твою жену наряжают вакханкой и ведут к барину в опочивальню. Потом пришли французы и снова пришлось идти в атаку, умирать, но не сдаваться, колоть штыками, брать Париж и возвращаться к барщине и розгам на конюшне. Потом еще терпели, терпели... и стали бросать бомбы, убили того, кто освободил, но без земли, убили... убили... убили... Потом пришли большевики, стали терпеть их и на Колыме вспоминать как было хорошо, когда на конюшне... Потом пришли немцы... Потом снова... Потом думали, что вот сейчас уж точно увидим небо в алмазах, но алмазы кто-то успел... и стало только голое небо. Господи, да что же было хорошего?!.. Разве только гениальная литература о том, что все плохо, военные оркестры, играющие вальсы в городском саду перед отправкой на фронт, любительские спектакли, после которых были танцы, ледяное шампанское в буфете и бой конфетти, маковые пряники, тридевять земель, за которые можно убежать, чудом дошедшее письмо с фронта или из лагеря о том, что жив, теплые шерстяные носки ручной вязки и леденцы на палочке. И еще мечты о том, что все будет хорошо или уже было, но мы не заметили. Впрочем, если как следует поискать в том, что давно поросло быльем, то можно...

За полтора десятка лет путешествий по нашей провинции насмотрелся я всякого. Живых городков, если исключить Московскую область (да и ту не всю), видел мало. По пальцам одной руки можно пересчитать живые. Гораздо больше полуживых и еще больше полумертвых. Полуживые – это те, в которых еще есть остатки производства, или производство умерло, но не так давно, и еще не все поняли, что это навсегда. Есть ряд почти живых, которые с трудом, но все же держатся за счет туризма. Остальные – полумертвые или совсем мертвые. Там нет ни производства, ни туризма. Я таких много видел. Около сотни, наверное. Думается мне, что та русская провинция, которую мы воображали себе по рассказам Чехова, Паустовского, Распутина... умирает и наверное умрет. Скорее рано, чем поздно. Тихо умрет. Никто и не заметит. Бедные, больные, старые и немощные городки, как и люди, долго не живут. И вообще она умрет не потому, что нет производства, туризма или не дали денег, а потому, что придет время, когда ей пора будет помирать. Жалко ее ужасно, но ничего поделать нельзя. Конечно, что-то будет вместо нее, но другое. Не такое как сейчас. Или не будет вовсе. Лет через сто или двести в автомобильных дорогах нужды не будет – все полетят. Мы станем жить в больших сверкающих муравейниках или на хуторах под прозрачными куполами силовых полей. Райцентров, деревень и сел тоже не будет, но останутся заросшие кустарником и лесом полуразрушенные автомобильные дороги, ведущие к заброшенным кологринам, ардатовым и ветлугам. Останутся старинные бумажные дорожные атласы, на которых все эти весьегонски, лукояновы и судиславли будут отмечены. От электронных карт толку не будет – их постоянно обновляют. Бумажные атласы будут стоять бешеных денег – по ним археологи и черные копатели будут отправляться на поиски наших заброшенных

провинциальных атлантис. Кто-то будет возвращаться обратно в мегаполисы с мешками, полными старинных часов с кукушками, древних транзисторных приемников и альбомов с фотографическими карточками в бархатных, изъеденных молью обложках, а кто-то и не вернется, оставшись там навсегда. Об оставшихся сложат страшные, леденящие душу легенды. Будут рассказывать о затерянном в Вологодской или Кировской областях древнем уездном городке, в котором еще живут те, кто не захотел уходить в мегаполисы или в специализированные агрогорода, обслуживать сельскохозяйственных роботов. У знакомых обнаружатся друзья или очень дальние родственники, ушедшие навсегда в дремучую, дику провинцию – к собственным колодцам, огородам, грибам, хлебу, испеченному в печи, к школам с партами в классах, учениками, учителями и к библиотекам с бумажными книгами на полках. Оттуда будут изредка приходить оставшимся в мегаполисах родственникам и знакомым бумажные письма, которые будут приносить бородатые люди в домотканой одежде, а со временем и вовсе перестанут.

К чему я это все... Если бы я умел писать романы, то написал бы роман об этих оставшихся в провинции людях. И вообще. Лучше было бы родиться через эти самые двести лет и быть археологом, а не смотреть на все это сейчас. Это очевидно больно смотреть, а археологу уже не больно, но любопытно. С третьей стороны, есть шанс, что через двести лет или даже через сто мои очерки о городках археологи возьмут с собой на раскопки, чтобы читать их у костра, прежде чем пить водку и петь «Милая моя, солнышко лесное».

В доме моих родителей никакой религиозной литературы не было. Папа и мама были убежденными атеистами. Правда, мама, кажется, верила в сглаз, да и сейчас верит в то, что хорошие поступки вознаграждаются, а за плохие придется отвечать, но все эти мамины верования никак с религией не связаны. Так что в первый раз Библию я увидел уже в довольно зрелом возрасте, в годы перестройки. Это было какое-то миссионерское издание на тонкой, почти папиросной бумаге. В моем детстве таких книг в нашей детской библиотеке не имелось. Зато была в ней книжка известного французского антиклерикала Лео Таксиля «Забавное Евангелие», которую я взял почитать сразу же, как только записался в библиотеку в третьем или в четвертом классе. Уж очень там мне понравились картинки. Картинки там были, если мне не изменяет память, Гюстава Доре, которые наши нестеснительные советские издатели взяли из Библии. Не столько я читал текст, сколько рассматривал длинноволосых бородатых людей в длинных складчатых одеждах, блестящие доспехи римских воинов, диких зверей, крылья ангелов и отрубленную голову Иоанна Крестителя. То, что было написано самим Таксисом, на меня тогда не произвело особого впечатления. Если честно, то я вообще не понимал, из-за чего весь сыр-бор. Есть на свете такая книга под названием Евангелие – и пусть себе будет. Стоит ли писать еще одну книгу, чтобы доказать, что все написанное в Евангелии неправда. Кроме иллюстраций в книге мне нравились цитаты из Евангелия. Во-первых, они были написаны совершенно необычным, торжественным и в некотором роде волшебным языком, а во-вторых, они описывали волшебное. (Он меня и сейчас завораживает – этот волшебный язык.) В чудеса, совершаемые Иисусом из Назарета, я поверил безоговорочно, и никакой Таксиль меня не мог разубедить. Как же мне хотелось ходить по воде и двигать горы... И способ-то вроде прост: «если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». Где брать веру хотя бы с горчичное зерно, я не знал. Я и горчичного зерна-то никогда не видел, а уж про веру и говорить нечего. Гор в моем Серпухове тоже не было. Решил я начать со спичечного коробка. Как сейчас помню – сижу я на кухне за столом, передо мной лежит советский синий спичечный коробок с надписью «Решения XXIII съезда партии в жизнь» и нарисован комбайн, вышка электропередачи и еще какие-то мелкие детали, из которых состоял развитый социализм. Даже то, как пах этот коробок, помню.

Сижу я и повторяю про себя «верую, Господи», краснею от натуги и взглядом прожигаю коробок. То, что не сдвинулся он ни на миллиметр даже после того, как я вытащил из него все спички я понять могу, но почему не загорелся до сих пор для меня загадка.

К чему я это все... К тому, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Таксилью, я думаю, не досталось еще и сочувствия, не говоря о благодати.

В Пскове, в развалинах стены Окольного города неподалеку от Мстиславской башни, есть детская Стена Плача. Ну, не то чтобы большая стена, а, скорее, пристенок. Ее, правда, здесь так никто называет, но суть не в этом. В этот кусок городской стены шестнадцатого века дети засовывают свои записки, в которых они просят у своего детского Бога, у своих ангелов-хранителей, чтобы те упростили пап и мам, бабушек и дедушек разрешить завести им котенка, щенка, или купить велосипед, сестру, брата, говорящую куклу или самый последний айфон. Кто-то, отчаявшись исправить собственных родителей, просит новых, а кто-то чтобы никогда не умирала бабушка. Самые маленькие писать, конечно, не умеют и в своих записках просто рисуют котят, щенков, велосипеды и прямоугольники мобильных телефонов. Доподлинно не известно, кто первым из детей придумал засовывать записки в стену, но самая старая записка, найденная в щелях между выщербленными известняковыми блоками, была написана еще в конце пятнадцатого века на бересте. Мальчик Онуфрий, сын одного из посадских кузнецов, просил у своего ангела-хранителя серебряную уздечку к деревянному коню и меч-кладенец. Теперь эта записка хранится в местном краеведческом музее. Обычай оказался живучим, и в наше время мамы, гуляющие в парке с детьми, сами приводят их к стене и даже помогают своим чадам написать или нарисовать записки. Почему-то взрослые думают, что это поможет детям лучше понять, чего же им на самом деле хочется. Можно подумать, что они сами это понимают. Приходят к стене и подростки, у которых уже пробиваются усы. У них записки чаще всего любовного свойства. Видел я даже и мужчину с совершенно седой бородой, который засовывал в щель между каменными блоками целое письмо. Впрочем, внутри мужчин, бывает, и до старости живет маленький мальчик, которому позарез нужен меч-кладенец или новая говорящая кукла. Про девочек такого не скажешь.

Сергею Боровикову

Как точно сказал Грибоедов про хорошо, где нас нет. По мне, так это и вовсе главные слова в его пьесе. Мы все время уходим туда, где нас нет. Сначала уходили от плохой жизни за Волгу, потом на Урал, потом за Урал, потом еще дальше... Потому у нас и государство такое огромное и вытянуто в длину. Все от этих поисков. На наше счастье земля круглая, а не то по плоской каждое утро собирались бы и шли туда, где нас нет. Добрались бы рано или поздно до края и с этого края на... Остались бы после нас нацарапанные на панцирях черепах или на бивнях слонов надписи неприличного содержания.

На самом деле я не об этом, а о том, что мы не умеем быть счастливы. Кажется, это сказал Чехов, но я не нашел источника цитаты. Я думаю, что из этого и выросло грибоедовское хорошо, где нас нет, хотя Грибоедов и жил раньше Чехова. Просто история литературы нелинейна. Этим все объясняется. Пирамиды могут быть не в начале, а в середине и даже в конце. У нас это может быть не только в литературе, но и в истории и вообще в чем угодно. На самом деле я и не об этом тоже.

Мы вечно недовольны собой и вечно себя едим. И нам вечно кажется, что на новом месте нас ждет новая прекрасная жизнь, новая прекрасная любовь и дивный новый

мир. Поэтому нас постоянно гонит от одного места к другому. Мы старого места обустроить не хотим – мы лучше пойдем на новое. Авось там все будет лучше. В истории освоения Вятских земель был такой период в семнадцатом веке, когда там селилось много беглых крестьян. Да и в восемнадцатом тоже. Да и в истории освоения любых русских земель. Селились беглые крестьяне в дремучих лесах. Такие деревеньки были глухие, что их никакие власти не могли найти. Годами скрывались. Поживут, обустроятся, заведутся у них сенокосы, рыбные ловли, станут они урожаем собирать, и тут нагрянут к ним власти с переписью. Соседи, значит, стукнули куда следует. Живут, мол, больно хорошо. Податей не платят. И вообще, почему так живут они, а не мы. Недолго думают крестьяне, к которым пришли с переписью, – соберутся и дальше в леса побегут – на Урал, за Урал, в Сибирь. Был бы проход по суше в Америку – так пешком в Америку и пришли бы.

И всегда мы с тоской смотрим на окна проезжающих поездов. Все нам кажется, что поезда эти едут в счастливую страну. А уж про корабли и самолеты говорить нечего. И многим из нас уже много лет, и они могли бы поумнеть, но... И ведь знаем, что в дороге всю жизнь не проведешь, знаем, что на том конце пути все точно такое же, только с другими названиями и другими точно такими же людьми, а все равно. У нас еще одна беда – мечтательность. Нам мечты очень часто заменяют мысли. Мы, к примеру, о будущем не думаем – мы о нем мечтаем. Вот как у Островского Бальзаминов мечтает: «Мне всё казалось, вдруг сама собой явится коляска, я привезу ее в дом к нам...» Сама собой явится, как же.

Наш человек по натуре путешественник. Наверное, путешественник поневоле. (Потому и грибоедовское «там хорошо, где нас нет» давно превратилось у нас в поговорку. У нее теперь и автора нет.) И нет нигде ему покоя. Куда бы он ни приехал – все ему будет казаться, что есть места еще лучше. На самом деле, путешествует он по ленте Мебиуса. От себя убегает и к себе неминуемо возвращается. Мудрецы путешествуют не выходя из комнаты, а мечтатели вроде нас едут за тридевять земель, чтобы понять – от себя не убежишь. Мы от природы непоседы, кочевники. Такие кулики, которые все время мечтают о других болотах. Вот потому-то мы можем построить корабль на подводных крыльях, атомный ледокол, космическую ракету и полететь в космос, чтобы пройти по пыльным тропинкам далеких планет, но произвести нормальную швейную машинку или электробритву не в состоянии. А все почему? Потому, что швейная машинка и электробритва не нужна тем, кто не сегодня завтра улетает на Марс. Пусть он хоть триста лет сидит где-нибудь в Воронеже или в Костроме и у него картошка посажена на тридцати сотках, но на Марс собирается каждый божий день. Кроме субботы и праздников, когда он идет с друзьями в баню.

Зуд писательства довольно неприятная вещь. Хуже чесотки. Не пишешь день, не пишешь два, а на третий начинает свербеть где-то в районе мозжечка. Тянет написать хотя бы страничку или полстранички текста. На любую тему. Иначе к исходу третьего дня и особенно в ночь на четвертый тебя одолеют мысли о том, что ты исписался. И еще эта дурацкая фраза Олеши про ни дня без строчки. Куда ни посмотришь – она везде. То вспыхивает мелкими красными неоновыми буквами на поверхности овсяной каши, которую ешь на завтрак, то огромными на соседнем доме, то на спине женщины, идущей впереди тебя по улице, и даже чуть ниже ее спины. Идешь на работу и в голове описываешь все подряд – облезлого кота, осторожно пробирающегося домой после ночной смены, белобрысого юношу-курьера с огромным желтым коробом за спиной, едущего на электрическом самокате, дорожных рабочих, сидящих на корточках возле вывороченного бордюрного камня, их шарообразного начальника с толстой потной шеей и тонкой папкой для бумаг подмышкой, бодрую девочку лет пяти, волокущую за руку сонного отца в детский сад, двух старушек в метро, долетающие сквозь грохот обрывки их фраз «марлей накроешь и настаиваешь двое суток в тепле...», «а потом утром,

натошак...», «подрались, и она ему кухонной теркой по роже...», женщину в углу вагона, вытаскивающую сережку-цветок из уха, чтобы мужчине рядом, было удобнее говорить ей в это ухо слова, которые он только что не языком туда... Начинаешь описывать сережку, а за ней мужские слова – маленькие и побольше, круглые и овальные, карамельные и замшевые, цвета крем-брюле и цвета осенних кленов, небесно-голубые и... тут объявляют остановку – не ту, на которой тебе выходить, а ту, после которой поезд уходит в депо. На совещание, назначенное ровно на десять утра, ты опаздываешь как минимум минут на пятнадцать и мозжечком начинаешь понимать... Нет, не мозжечком. И не понимать, а чувствовать...

...И тут зашла речь о книгах и о книжных героях, которые меня и мое поколение, выражаясь языком советской педагогики, сформировали. Я уж было открыл рот, чтобы начать рассказывать об Андрее Болконском, Макаре Девушкине, Евгении Онегине, Печорине и... призадумался. Даже вытащил изо рта сыр, чтобы не выронить, если, не дай бог, случайно каркну не то, и стал вспоминать. Получалось... Нет, не получалось. Жизнь свою я не делал ни с Болконского, ни с Печорина, ни даже с дуба, с которым разговаривал князь Андрей. Правду говоря, я вообще не находил в русской классической литературе ни одного героя, которому в детстве мне хотелось бы подражать. Я любил Обломова и жалел несчастного Чичикова, у которого все сорвалось из-за идиота Ноздрева, но те, кого ты любишь и жалеешь, совсем не всегда могут быть примерами для подражания.

Сайрус Смит Жюль Верна, профессор Челленджер и Раффлз Хоу у Конан Дойля, Скотт у Цвейга в «Звездных часах человечества» были моими примерами – все эти ученые, первооткрыватели и путешественники. Отчего же их не было в классической русской литературе? Разве их не было в русской жизни? Были, да еще какие – Семен Дежнев, которого можно смело ставить в один ряд с Колумбом и Магелланом, братья Лаптевы, Ломоносов, Кулибин, Менделеев, Яблочков, Пирогов – где они в русской литературе? Не подробные и скучные научные биографии, а романы, в которых ученый и инженер являются главными героями. Не было Пирогова и братьев Лаптевых в русской литературе. Были станционный смотритель, Плюшкин, Раскольников, братья Карамазовы, Анна Каренина и даже Холстомер, а Пирогова и братьев Лаптевых не было.

Первым на ум из ученых, первооткрывателей и путешественников почему-то приходит Штольц, «крепкий хозяйственник» и вообще немец. Вычеркиваем его. Про «крепких хозяйственников» Костанжогло и откупщика Муразова из второго тома «Мертвых душ» лучше вообще не вспоминать.

Вот Евгений Базаров, который нам объяснял про то, что природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Так он яростно это объяснял, что подражать ему не хотелось. Покажите мне пальцем на того школьника, который хотел подражать Базарову. Разве только в нигилизме, в курении папирос и в жестоких опытах над лягушками. Нет, Базаров не подходит.

Вот положительный профессор Дымов в «Попрыгунье»... Всплачем над его горькой судьбой. Вот гениальный Левша... Обнимемся и зарыдаем. Есть еще профессор Серебряков в «Дяде Ване». Лучше бы его не было. Астров, конечно, подходит больше. Он врач, он благородно увлечен лесами, у него и карта есть, с помощью которой он к жене профессора пытается... Вот только пьет горькую. Ну, хорошо. Пусть классическая русская литература вся написана дворянскими перьями, и до всех этих ученых, инженеров и мореплавателей ей дела не было, но Чехов, но Лесков, но Мамин-Сибиряк, но Помяловский... Нет, и они не замечены в любви к ученым и инженерам. Правда, у Лескова есть рассказ «Инженеры-бессребреники», но у этого рассказа имеется подзаголовок «Из историй о трех праведниках», и поэтому мы его тоже вычеркиваем из списка, в котором и нет ничего.

Первым русским инженером, описанным в литературе так ярко, что мы его помним до сих пор, был прохвост и авантюрист Петр Гарин. Это уже не и русская классическая, а советская литература. Положительный инженер Лось Толстому удался куда хуже. За Гариным идут профессора Персики и Преображенский – мягко говоря, личности не то чтобы очень положительные. Ну, Булгаков, конечно, статья особенная. Это вам не социалистический реалист Гранин с его хождением на грозу и искателями. Про этих, которые вместе с народом и партией строили светлое будущее, говорить не хочется. Известно, какие там ученые и инженеры – светлые и будущие. Вроде электрических схем и дифференциальных и химических уравнений. Возьмем лучше Трифонова, возьмем Нагибина, возьмем Шукшина, да кого хочешь возьмем из хороших и даже прекрасных писателей... Впрочем, был Дудинцев с его двумя романами и Солженицын. Нельзя сказать, чтобы это были жизнеутверждающие вещи... Мы, однако, забрались слишком далеко от золотого века нашей классической литературы, которая вся была о душе, а не об уме, который, как сказал один умный француз, всегда в дураках у сердца. Удивительно, что это сказал француз Ларошфуко, а не русский. Русский Чехов сказал об уме другое. «Я, помню, читал где-то, что у вас* у всех ум приобретенный, из книг, а у нас ум врожденный. Если русского обучить как следует наукам, то никакой ваш профессор не сравняется.

– Может быть... – как бы нехотя говорит Шампунь.

– Нет, не может быть, а верно! Нечего морщиться, правду говорю! Русский ум – изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не умеет... Изобретёт что-нибудь и поломаёт или же детишкам отдаст поиграть, а ваш француз изобретёт какую-нибудь чепуху и на весь свет кричит. Намедни кучер Иона сделал из дерева человечка: дёрнешь этого человечка за ниточку, а он и сделает непристойность. Однако же Иона не хвастает».

Ну, вот. Антон Павлович и убил-с.

*У французов

...Или выросли бы у меня крылья и умел бы я летать. Во сне-то я летаю и без всяких крыльев, а наяву... На работу летать глупо. Пока долетишь, весь взмокнешь и вымотаешься. Потом еще и работай давай. Да и воздух над Москвой – хуже только в каком-нибудь Пекине. А в метро или в автобус куда с крыльями? Оттопчут. Будут говорить – снимите ваши крылья. Мы рюкзаки снимаем, и вы крылья снимите. А они, мать вашу, не отстегиваются. Это вам не рюкзаки. Еще и какой-нибудь любознательный ребенок выдернет незаметно маховое перо. Еще и не одно. С работы вообще не имеет смысла лететь. И без того упанешься так, как не знаю кто, – а тут еще и крыльями всю дорогу махать. Благодарю покорно. Можно, конечно, по выходным летать в парках или вовсе уехать на природу и там летать над лесом или полем. Какая-нибудь скотина стрельнет в тебя из помпового ружья со своего приусадебного участка просто так, ради развлечения, и все. Или дети из рогаток. И поди потом доказывай, что ты не дрон. Если, конечно, в штопор не свалишься и не упадешь головой в картофельную грядку. Вот если только подлетать под балкон к какой-нибудь Василисе Прекрасной на седьмой или даже двадцатый этаж терема, в котором она живет с мужем, мамой, двумя детьми и котом... Как подумаешь о путанице проводов, о соседях снизу, сверху и сбоку...

...Или умел бы читать мысли. Мне от своих некуда деваться, а тут еще чужие. Зачем, спрашивается, знать мысли моего начальства обо мне? Не говоря о мыслях подчиненных. Можно подумать, что я их и без того не знаю. Мысли жены и не хочешь читать, а все равно придется. Так и лезут в голову, так и лезут... Поздно уж мысли читать.

Нужно было это делать лет сорок назад, когда было непонятно, что у нее в голове, под шапкой черных, волнистых волос, когда в глазах...

...Или знал бы такое заклинание, как Баранкин, или у меня была бы коробочка с черным порошком и пергаментом, на котором написано «мутабор». В кого превращаться... Для начальства ты и без всякого превращения насекомое вроде Грегора Замзы, а для подчиненных... лучше и не знать, каким животным они тебя представляют. Что же касается жены... Даже если я превращусь в соседского спаниеля, она меня опознает по амплитуде колебаний хвоста.

...Или мог бы становиться невидимым. Зачем, спрашивается? В метро затопчут. Да и не тот у нас климат, чтобы разгуливать голым. Мгновенно посинеешь от холода и станешь видимым. Какая-нибудь проходящая мимо бабка покажет на тебя скрюченным пальцем и скажет: «Страмота». Не говоря о детях и полицейских. И вообще я хорошо помню, чем все кончилось у Гриффина. Ничем хорошим не кончилось.

...Или обладал бы способностью мгновенно телепортироваться куда угодно. Ну да... Возникнешь как черт из табакерки там, где тебя совершенно не ждут. Даже наоборот. Каждый первый тебе скажет: «Предупреждать же надо!», а каждый второй еще и будет норовить дать по морде.

...Или видел бы сквозь стены. Что я там не видел, за этими стенами? Как, спрашивается, потом все увиденное развидеть?

Проснешься посреди бесконечного падения в пропасть, накинешь на плечи плед, подойдешь к окну и станешь смотреть на туманные шары оранжевого и голубого света вокруг фонарей, на лоснящийся от дождя асфальт, на лужи, изрытые оспинами падающих капель, на желтые березовые листья, плавающие в этих лужах, на горящее окно в доме напротив и думать разную ерунду о том, что мы проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба, потом умрем и за гробом скажем, что мы страдали, плакали, но исправно платили ипотеку, ходили каждый день на службу, писали бумаги, много бумаг, делали глупости, много глупостей, покупали в кредит умные пылесосы, снова плакали, пили от тоски, страдали, потом наш семнадцатизэтажный панельный дом еще советской постройки снесут к чертовой матери и на его месте выстроят огромный небоскреб, и кто-то с седьмого или с семидесятого этажа этого небоскреба будет смотреть на небо в алмазах над головой или на плавающие далеко внизу, в тумане, шары оранжевого и голубого света и думать: «Куда зашли мы?... Что там, впереди? Не ждет ли нас теперь другая эра?» ...Подумает, подумает вернется в комнату, ляжет в кровать и станет смотреть на потолок до тех пор, пока тот не побелеет.

Теперь, поздней осенью, когда лес обнажился и поля опустели, когда голые черные березы с десятком листьев на самых верхних и самых тонких ветках напоминают свечи, от которых остались только маленькие дрожащие на ветру желтые язычки пламени на длинных обгорелых фитилях, теперь хорошо уезжать. Все равно куда – лишь бы подальше и лишь бы навсегда. Сидишь себе в теплом купе поезда невообразимо дальнего следования, а по перрону под морозящим противным дождем ходят и бегают люди с чемоданами и без, хлопают двери вокзала, диктор что-то говорит механическим голосом, а между ними и тобой уже толстое, двойное стекло вагонного окна. Помашешь провожающим, думающим про себя: «Уезжаете? Уезжайте! Улетайте – и дай вам Бог!», и медленно-медленно поедешь, а через несколько секунд обнаружится, что это поехал соседний поезд, а твой еще стоит. Тогда еще помашешь немного и наконец поедешь.

Провожающие сейчас пойдут домой, будут толкаться в метро, в троллейбусах и трамваях, завтра ни свет ни заря пойдут на работу, а ты напьешься сладкого чаю с

лимоном, съешь бутерброд с копченой колбасой или даже два бутерброда и будешь смотреть на пробегающие мимо задние стенки гаражей, исписанные яркими, разноцветными надписями вроде «Леха, мы с тобой» или уже выцветшими «Мы его не выбирали», на мужчин, распивающих спиртные напитки за этими самыми гаражами, на свалки, на других мужчин и женщин, выгуливающих собак, на собак и кошек, гуляющих сами по себе, потом ляжешь спать, а перед сном станешь читать какую-нибудь книгу при синеватом свете поездного ночника, приятно вздрагивать всем телом в такт убаюкивающему перестуку колес и думать, что хорошо бы поезд не останавливался еще месяца два или три, или даже года полтора, чтобы можно было приехать... да никуда не приезжать, а просто бесконечно катить «мимо ристалищ, капищ, мира и горя мимо» и нигде не сходить – даже на каком-нибудь крошечном, усыпанном теплой солнечной пылью полустанке в глухой провинции у моря. Никогда.

Идет писатель по осеннему голому черно-желтому полю и думает о том, что он еще на этом поле не описал? Почерневшие соцветия пижмы описал, спящих кузнечиков описал и даже сны их насекомые описал в самых мелких подробностях, муравейники... тоже и про муравейники, и про отдельных муравьев, не говоря о стрекозах. О еле слышном шуме машин на шоссе, который доносится из-за дальнего леса точно с другого края галактики, писал. Вот этими же самыми словами про галактику и писал. Может, и не про нашу, но точно про галактику. Про одинокую низколетящую ворону писал. Про то, как она тяжело и со свистом машет крыльями, про то, как хрипло каркает, как от этого карканья становится так тоскливо, что хочется выпить рябиновой настойки – писал. Про то, как делать рябиновую настойку – тоже писал. Так подробно, что подробнее некуда. Писал и про облака над вороной. Про серые, ватные, никуда не плывущие, а висящие над полем точно дирижабли на привязи. Про гул от мотора невидимого самолета писал, про летчика, про его семью и двух непутевых детей Костика и Таню... или это жена у него непутевая... Черт их разберет, этих летчиков и особенно механиков, которые к женам летчиков, пока те летают.... Про всех писал. Про седые лохмы репейников, про дрожащие на ветру и без ветра листья осин, про засохшие цветы полевых маргариток, про холодный порывистый заунывный бесприютный пронизывающий ветер, про морозящий беспросветный затяжной бесконечный серый сплошной дождь, про осеннюю тишину... Про нее написал столько, что будь она женщиной, то пришлось бы на ней жениться. Про сельскую церковь на краю поля писал. Про ее полуразрушенную колокольню, про покосившиеся кресты, доски, запасенные на ремонт и украденные местными жителями, про батюшку, приезжающего из соседней деревни по воскресеньям на литургию, про колокольный звон, плывущий над полем, про дорогу, идущую через все поле к лесу, про колею, наполненную черной зеленой водой, лягушками, про мелкие, величиной с ноготь мизинца, цвета кофе с молоком поганки, выросшие по обочинам... Не писал. Господи, ну для чего ты их вырастил по обочинам дороги в ноябре? Для того, чтобы отравиться такими грибами, нужно собрать их сотни две или три, да и то, кроме насморка... Крупный зверь их просто затопчет, а мелкий... кузнечики их не едят, да и спят давно все кузнечики. Разве только Ты их создал для того, чтобы пробегающая мышь-полевка, погрязшая в блюде и чревоугодии, сожрала такой грибок, тотчас посинела от удушья и, пройдя на заплетавшихся лапках еще сантиметров пять или десять, упала бездыханная в пожелтевшую траву, так и не успев ничего понять и покаяться? Для того, чтобы ее непутевые дети Костик и Таня остались без матери?

Берем чистый лист бумаги и разбрасываем по нему черные асфальтовые, желтые, оранжевые и резные красные существительные, прилагательные, причастия, междометия – все, что выйдет из-под пера. Где-то будет ровно, а где-то образуются кучки и даже кучи

– не страшно. Лишь бы белого не было видно. Сверху все покрываем крошечными мокрыми существительными. Тут даже частицы подойдут и суффиксы. Лишь бы все покрыть. В одну из мокрых желтых и красных словесных куч можно зарыть одно длинное, на коротких ножках ушастое существительное с коротким, словно собачий хвостик, окончанием и два или три звонких отрывистых междометия. Рядом с кучей желтых и красных прилагательных с копошащимся в них длинным и ушастым существительным напишем два сложносочиненных предложения, одно из которых будет состоять из десятка круглых неповоротливых шерстяных, байковых, непромокаемых, немного шепелявящих глаголов, из пары румяных пунцовых и тоже круглых прилагательных, а другое... другое может быть из одних прилагательных – воздушных, порывистых, плавных, медовых, зеленых, золотисто-зеленых, янтарных, серых, сероголубых, лазоревых, непроницаемо черных, мягких и даже пухлых, теплых и обжигающих, округлых, вьющихся, медно-золотистых, рыжих, смеющихся и непокорных. Внутри вороха этих прилагательных летящими стремительными буквами напишем невесомое подлежащее и всегда непредсказуемое сказуемое. Потом вокруг этих предложений нарисуем разных ветреных, кучевых, серых, тяжелых, ватных существительных и задумаемся, замечтаемся, подопрем щеку рукой, станем курить, пить остывший чай, смотреть в окно и просидим, глядя в него, до тех пор, пока не стемнеет.

Если бы я умел писать романы или хотя бы повести, то написал бы повесть о человеке, живущем в какой-нибудь Жиздре или Белеве обычной обывательской жизнью. Дом у него свой, жена, хозяйство, куры, свои яйца с крупными оранжевого цвета желтками. Работает человек главбухом в местном доме быта или в редакции районной газеты «Вести». На работе у него тоже все хорошо. Коллектив подобрался дружный. Все праздники и дни рождения отмечают вместе, за общим столом. Приносят пироги из дома, настойки или просто домашний самогон и свои малосольные огурцы. Выпьют, поболтают о рыбалке, об урожае картошки, о колорадском жуке, ущипнут за подлежащее какую-нибудь... да все равно какую. Лишь бы подлежащее было такое, за которое хочется ущипнуть. И потом по домам. Потому как люди семейные, солидные. Побаловались и будет. Короче говоря, все хорошо, но... человек имеет натуру тонкую, чувствительную. В обычной жизни счастья ему нет. Он по ночам, после работы бухгалтером или главным механиком, пишет рассказы или стихи или то и другое вместе. Посылает в областные журналы, в издательства. То есть сначала-то он писал в столичные, но потом подумал на трезвую голову и стал писать в областные. Год пишет, два пишет. Мало-помалу его начинают печатать. Сначала его рассказы появляются в журналах Калуги или Тулы, а потом выходят составленные из этих рассказов книги. Премию получает на конкурсе «Золотое перо Калужской области». Или тульской. Известность его доходит до самой Жиздры или Белева. Становится он писателем. Не то чтобы знаменитым на всю Калугу или Тулу, в которых этих самых писателей пруд пруди, но все же. Не то чтобы Мартин Иден Белевского или Жиздринского уездов, потому как не моряк, не молод, не живет литературным трудом, женат, имеет двух замужних дочерей и внука, и вообще бухгалтер, но все же. Ходит по улицам Жиздры или Белева с задумчивым видом, точно сочиняет роман на ходу или стихотворение. Да и на работе посреди написания годового отчета вдруг задумается, подопрет щеку рукой и напишет на полях каких-нибудь сложносочиненных слов, которые тотчас же сам густо зачеркнет. На общих праздниках сидит несколько отдельно. То есть рядом со всеми, но выпьет рюмку-другую и просит больше ему не наливать. Станет смотреть в окно, шевелить губами, водить пальцем по стеклу, а чтобы поговорить о рыбалке или о помидорной рассаде... Женщины из планового отдела поначалу оживляются, достают клинья, которые у них всегда наготове, и начинают их незаметно подбивать под известного областного писателя, но куда там. Прежние товарищи от него отделились. Или он от них. Даже в гости перестали заходить.

Ну, раз ты, как сказал поэт, царь, то и живи один. Иди, куда тебя влечет тебя свободный ум, и не оглядывайся. Жене тоже все это надоело. Вместо того чтобы починить кран или вскопать грядку, человек часами лежит, сидит или ходит, собирая в специальную коробочку метафоры, образы, синекдохи и аллюзии. У него внук в третий класс скоро пойдет, а он... Вчера и вовсе сидел в спальне и два часа гладил обложку своей новой книги, а жена, между прочим, так давно не глажена, что морщины... Ну да. Сидел и думал о том, как было хорошо в доме быта или в бухгалтерии районной газеты, куда он ходил каждый день и жил обычной жизнью – чаепитиями с пирогами, пустой, не обременяющей голову болтовней, подлежащими, за которые можно ущипнуть, рыбалкой, настойками... Короче говоря, жизнью. Обычной безмятежной жизнью обывателя Жиздры или Белева. Раньше он смотрел в окно просто так, для удовольствия, и при этом пил чай с коньяком, а не мучительно соображал, как бы эти черные голые деревья и падающие листья или скрюченную старуху, везущую сумку на колесиках, описать и вставить в роман или в рассказ. Книга, конечно, хорошая. Может, даже очень хорошая. Талантливая и не теряется на фоне других талантливых книг Калужской или Тульской областей, но... не заменяет. Ничего не заменяет – ни чаепитий с пирогами, ни пустой болтовни, ни даже помидорной рассады. Особенно тогда, когда из картонных пакетов с землей на подоконнике появляются крошечные нежно-зеленые ростки. Писатель гладит обложку и думает о том, как вернуться обратно туда, где он был старшим или даже главным бухгалтером, но поздно – капкан захлопнулся, и из него не вырваться, даже если что-нибудь себе отгрызть. Пусть и очень нужное. Из писателей обратно не возвращается никто и никуда. Тем более в главные бухгалтеры. Даже в обычные бухгалтеры не возвращается*.

*Тут должна быть бездна психологизма. Это не просто размышления, а мучительные размышления. Параллельно, а вернее, перпендикулярно, идут еще более мучительные размышления жены, дочерей и даже внука, которого одноклассники дразнят писателем, но это все же идея повести, а не сама повесть и тем более не роман, и поэтому я здесь на них не останавливаюсь. Не говоря о бурном романе нашего героя с литературным критиком из Калуги или из Тулы, которая заведует то ли отделом прозы то ли публицистики в редакциях журналов «Знамя Калуги» или «Новый мир Тулы». Он тогда хотел все бросить и уехать в Калугу или в Тулу, чтобы зажить новой жизнью, но проклятые куры...

В середине ноября, когда осень уже кончилась, а зима еще не началась, наступает время между собакой и кошкой, когда собака лежит у твоих ног, кошка примостилась у плеча, на спинке кресла или на коленях, а ты сам сидишь и смотришь в окно, за которым только голое черное, беспросветно серое, туманное, нудно и бесконечно морозящее, пожухлое, желтое, ржавое, одинокое и такое беспричинно тоскливое, что хочется растревожить душу, разбередить старые раны, вспомнить несчастную любовь, даже если ее не было, облиться слезами над каким-нибудь вымыслом и даже прищемить себе палец, чтобы к душевной боли прибавилась еще и физическая.

С первым снегом с неба сыплются во множестве синички и снегири. Если зима будет морозная, то небо их присылает сразу с небольшим однодневным запасом семечек или даже сала. Все это падает под окно, а уж сделать так, чтобы семечки и сало у синиц и снегирей не переводились до весны, небо поручает тебе. Только воробьев нам ниоткуда не посылают – они живут на земле, среди нас, и приходится им заботиться о своем пропитании самим, собственноручно. Ручки у них маленькие, рудиментарные. У некоторых их и вовсе нет. Вот и мрут они, бедные, зимой как мухи, которые спят себе без

задних и средних ног между рамами до самой весны и знать не знают – еще живы они или уже нет их на белом от выпавшего снега свете.

Если бы я был Горький, а точнее, Павленков, то придумал бы серию книг под общим названием «Жизнь незамечательных людей». Про разных людей, которые хотели стать знаменитыми, но не стали. Проще говоря, про неудачников. Это были бы, скорее всего, провинциалы. В провинции куда проще стать неудачником, чем в большом городе. Задохнуться от тоски, от лени, от пыли на кухонных занавесках в цветочек. В столицах ты купишь в кредит машину, возьмешь в ипотеку айфон, и все – ты уже не неудачник, ты как все. Звездное небо надо головой не смотрит на тебя с укоризной. Да и оно тебя не удивляет, и ты перед ним не благоговеешь. Ты вообще на него не смотришь – ты смотришь в айфон, поскольку в нем есть ответы на все вопросы. Даже на те, которые ты давно перестал себе задавать.

Другое дело в провинции. Станешь пропалывать в своем огороде какую-нибудь бесконечную грядку с морковью или свеклой – и все думаешь, думаешь о том, зачем ты, куда ты, каков был Его замысел относительно тебя, и какого, спрашивается... все вышло именно так, а не иначе, хотя могло и должно было выйти совсем по-другому. Так и хочется эту морковную или свекольную грядку обмотать вокруг шеи и на ней удавиться.

Возьмем, к примеру, человека, который мечтал стать знаменитым археологом. Давно мечтал. Еще в советские времена. В Московский университет на истфак с тем свидетельством о рождении, что у него было, не брали, но в архивный институт он смог поступить. Учился, ходил в студенческое то ли археологическое, то ли археографическое общество, ездил на практику то ли в Херсонес на раскопки, то ли в Центральный государственный архив древних актов и даже привез на память то ли обломок ручки глиняной греческой амфоры, то ли тайно насобирав в коробочку архивной пыли шестнадцатого века с редкого издания Четвы-Миней времен Ивана Грозного. После института хотел остаться в аспирантуре, но тогда еще нужна была прописка, а ее без работы не давали, а работу не давали без прописки. Пытался он устроиться дворником, чтобы по нечетным дням... или истопником... или сторожем... Короче говоря, так и поехал по распределению то ли в Уржум, то ли в Пучеж. Вместе с коробочкой или с обломком ручки глиняной амфоры, аккуратно завернутой в носки. Ну, а в Хвалынске или в Урюпинске стал работать в городском архиве, женился, обзавелся домом, дровяным сараем, баней и кроликами, но тут... археология, которая какое-то время была в ремиссии, проснулась где-то глубоко внутри и тоненько, но невыносимо заныла.

Поначалу организовал при той средней школе, что была рядом с его домом, археологический кружок из детишек пятых и sixth классов и ходил с ними по окрестным полям и оврагам с лопатами, детскими железными совками и ситами для просеивания земли. Поехать в Херсонес на раскопки он уже не мог – жена и кролики не отпускали. Копался у себя на огороде. Нашел старинную костяную пуговицу с полусгнившим обрывком бязевых подштанников, позеленевшую екатерининскую медную копейку и чей-то зубной протез, невесть как оказавшийся у него на картофельной грядке. Жена... Жена кричала ему обидное. Ты не Шлиман, ты шлимазл... Как он умудрился в Галиче или в Ардатове найти жену, которая знала, что означают два этих слова – понятия не имею. Видимо потому, что был неудачником.

В свободное время он писал статьи на темы кто мы, куда мы, откуда есть пошла, но все никак не придет, и посылал их поначалу в разные солидные исторические журналы вроде «Вестника древней истории», «Исторического архива» или «Вопросов медиевистики». Их возвращали. Хорошо, если без издевательских комментариев или советов, что почитать, прежде чем писать на такие темы. Мало-помалу от вопросов общих перешел он к частным и стал писать историю своего райцентра, решив, что в ней он как в капле воды... Поначалу на основе архивных документов, которые были у него всегда под

рукой. Ездил он за свой счет и в областной архив, чтобы копаться там в купчих и закладных времен Екатерины Алексеевны или Александра Первого. Нашел там никем не виданный обрывок из дозорной книги, составленной в царствование Алексея Михайловича с полным списком городских нищих. Правда, ему скоро надоело писать скучную, бесцветную и пыльную историю захолустного уездного городка, и он начал вставлять в нее выдуманных из головы городничих, купцов, промышленников и разбойников. Мало того, наш летописец этим выдуманным персонажам вкладывал в карманы выдуманных камзолов, кафтанов и зипунов выдуманные документы, которые сам же и сочинял во множестве. К примеру, городничему времен Екатерины Великой секунд-майору Федору Карловичу фон Циллергуту приписал командировочный роман с императрицей. То есть сам Федор Карлович ни в какую командировку не ездил, а сидел сиднем в своем то ли Васильсурске, то ли в Воротынске, а в командировке была Екатерина Алексеевна, которая, проплывая по Волге из Твери в Симбирск, залюбовалась статным видом городничего, отдававшего ей честь... Ну, не важно, где и как он ей ее отдавал, но наш краевед утверждал, что в городском архиве осталась *lettre d'amour* к городничему, написанная рукой Государыни, в подлинности которой сомневаться не приходится, поскольку она написана с ошибками, которыми так любила уснащать свои записки императрица.

И это не все. Нашелся в архиве документ, по которому выходило, что прототип всем известного Павла Ивановича Чичикова в самом начале своей, так сказать, карьеры, проживал в этом самом то ли Моршанске то ли Венева. Там ходил он в городское училище, там начинал служить в казенной палате и там чуть не женился на дочери старого понытчика. Документ этот был дневник дочери понытчика, так и оставшейся в девицах. Уж такое там было написано про Павла Ивановича, про город и даже про Гоголя, и с такими пикантными подробностями про Николая Васильевича, который все эти сведения из глупой и несчастной старой девы разными хитростями выуживал, что не только местные краеведы взбудоражились, но даже из самой Москвы собиралась приехать комиссия из Академии Наук из Института русской литературы во главе с каким-то академиком. В довершение ко всему хвастал наш герой, что нашел копейку, которую Чичикову завещал беречь его папаша, и даже показывал ее своим друзьям.

Может, оно бы и обошлось, но все эти истории с обширными цитатами из выдуманных документов публиковались в районной газете, редактор которой был закадычным другом и, что уж тут скрывать, собутыльником нашего героя. Теперь уж не узнать, но может статься, что все эти истории и сочиняли они вместе с редактором за бутылкой портвейна или водки, поскольку редактор районной газеты был тоже человеком незамечательным. Хотел он стать знаменитым писателем и в детстве подавал к этому надежды довольно больших размеров, печатаясь в «Пионерской правде» и в журнале «Костер». Впрочем, это уже другая история, как любят писать начинающие прозаики в конце своих рассказов, повестей и романов.

Если бы все дети рождались с небольшими молочными крыльями. Они бы у них росли лет до пяти или семи, а потом понемногу отсыхали и в десять лет отваливались бы совсем. Летали бы только худенькие. Да и то – невысоко и недалеко. Кроме тех, которые упорно тренировались бы. Отсохшие крылья хранили бы дома матери в шкапулках как семейные реликвии. Вроде молочных зубов. Если же крылья не отсыхали в нужное время, то ребенок считался не умственно отсталым, конечно, но с задержкой в развитии. Иметь крылья лет в пятнадцать, а тем более в двадцать считалось бы уже неприличным. На таких смотрели бы с сочувствием и состраданием. Они, и в самом деле, были бы не то чтобы с приветом, а... К примеру, писать умели бы, а вот счет и вообще точные науки им не давались. Не было бы среди них ни бухгалтеров, ни инженеров. Но если у крылатых обнаруживался голос, то их с руками и крыльями отрывали бы монастыри и церкви.

Самый большой хор крылатых детей был бы при ХХС, а в Ватикане только второй. Богатые люди своим детям крылья удаляли бы хирургическим путем*, а бедные... В глухих деревнях встречались бы и крылатые старики со старухами. Обычно это были бы бобыли, но иногда они бы образовывали семьи. Чаще всего бездетные. По-настоящему, как птицы, они летать не могли бы, но долго парили бы в восходящих потоках воздуха. Этим пользовались бы туристические фирмы. Наймут человек пять крылатых прыгать с высоких страшных скал и привезут за деньги фотографов-любителей, чтобы те фотографировали, как они красиво парят. Конечно, и в городах крылатые, хоть и редко, но встречались бы. Жизнь в городе была бы у них не сахар. На работу с крыльями устроиться трудно. В офис не пойдешь, шофером тоже не возьмут – даже и на стуле толком не посидеть. Какая-то часть устраивалась бы работать дворниками или натурщиками, но очень небольшая. Натурщиками, в основном, женский пол, а у мужского, как возраст приходил, так волосы начинали бы расти на крыльях. Вроде как на ушах у обычных мужчин. Вид, прямо скажем, не презентабельный. Зато ходить по вагонам метро и просить подаяния – в самый раз. Им подавали бы больше всех, и потому за них постоянно воевали бы криминальные нищенские кланы. А цыгане и вовсе нашли бы способ делать так, чтобы у детей крылья не отсыхали никогда. Поили бы их специальным травяным настоем. Понятное дело, на водке. Цыган за это привлекали бы к уголовной ответственности, но толку от этого не было бы никакого.

*Удаляли бы в старое время, в новое использовали бы гормональную терапию.

Ночью ударил мороз. Зима пришла, растеряв по дороге снег. В поле все точно такое же, как и осенью – рыжие и черные кусты, поломанные и погнутые ветром стебли, два или три белых облака величиной с салфетку каждое, намертво приклеенных к ледяному голубому небу, и все. Точно все, что есть вокруг, отступало, отступало как французы по старой Смоленской дороге, но кто-то сказал всему, что есть вокруг «поле волнуется три», и оно замерло. Небо и воздух вдруг стали такими прозрачными, что дорога, которая идет через все поле к горизонту, превратилась в бесконечную, и на другом ее конце, если как следует сощурить глаза, можно увидеть Африку, слонов и жирафов, бредущих в вязком знойном мареве, и даже крошечного цвета эбенового дерева воина с копьем, осторожно крадущегося за добычей по окаменевшим от мороза комьям грязи и по высохшим черным и рыжим кустам пижмы и чертополоха. Все выглядит только что оставленным, как квартира, из которой вчера вышли за хлебом, а оказалось навсегда. Солнце светит сквозь еще не пыльные шторы, за окном шумят машины, на столе стоит чашка с недопитым чаем, на блюде крошки от съеденного печенья, но будущего уже нет – есть только прошлое, которого хоть завались, и совсем немного настоящего. При слове «будущее» откуда ни возьмись выбегают черные мыши и начинают поедать крошки на блюде.

Прочел я однажды в каком-то романе, что главный герой после того, как проучился два года в агрохимическом колледже университета, взял да и перевелся на филологический факультет. Так его поманили к себе Чосер и Шекспир, что он не смог удержаться. Прочел и задумался – что если бы я учился не в своем химико-технологическом институте, а в университете... После второго курса, как раз перед началом всех этих невообразимо скучных процессов и аппаратов химической технологии, коллоидной химии и еще кучи дисциплин, только от названия которых хочется впасть в анабиоз, я взял бы и...

Учился бы хорошо. Отлично даже. Математики нет, физики нет, начертательной геометрии и след простыл – учись не хочу. Потом остался бы на кафедре ассистентом или устроился бы на работу в какой-нибудь научно-исследовательский институт по изучению поэтов-современников Пушкина. Как же хорошо быть филологом! Реактивы тебе не нужны, приборы, кроме компьютера, степлера и чайника, не нужны, лаборант может только плохо заварить чай, а не устроить пожар или взрыв при перегонке под вакуумом. Тебе не надо смотреть с завистью на коллег из какого-нибудь Гарварда или Принстона, которым любой заказанный прибор или реактив могут доставить уже завтра, а тебе только через три месяца после того, как ты их закажешь на последние деньги... все равно не привезут, потому что таможня... потому, что таможня, и все. Все или почти все нужные архивы у нас, и надо только сказать, что ты завтра с самого утра в библиотеке или в архиве. Сидишь себе, выписываешь нужные цитаты, заказываешь ксерокопии, с наслаждением вдыхаешь запах старых книг, а не тошнотворный запах какого-нибудь пиридина или этилмеркаптана. И никто тебе не капнет на новые джинсы серной кислотой.

Я бы построил себе дом из... да из любого стихотворения, к примеру, Тютчева, и в нем поселился. Наташил бы туда разных цитат, монографий, писем тютчевских друзей, родственников, свидетельств очевидцев, дагерротипов, подорожных и зажил бы в нем припеваючи. Еще и прорыл бы ходы от своего дома к другим стихотворениям Федора Ивановича и дальше, к другим поэтам и даже в наше время, а если хватило бы финансирования, то и в будущее. И сам бы написал статью о том, что в стихотворении «Она сидела на полу и грудю писем разбирала...» пол бы паркетный, дубовый, и стоил такой паркет по три рубля с полтиной серебром за квадратный метр, как выяснилось по найденным автором статьи архивным документам, а вовсе не по десяти рублей ассигнациями, как это утверждали ранее в своих работах некоторые недобросовестные исследователи. Впрочем, интереснее всего открыть неизвестного науке поэта того времени. Интереснее этого открытия может быть только выдумывание этого поэта из головы и написание за него стихов. Само собой, гениальных. Найти в самом дальнем и самом пыльном углу какого-нибудь пензенского или тамбовского архивов папку с бумагами губернского мирового или сиротского суда, а в ней стихи секретаря... И еще написать роман о жизни этого секретаря. Сочинить ему солидную, важную и строгую жену с кустистыми бровями, детишек, скучную службу, карты по пятницам с сослуживцами, горькую и... хрупкую Анну Сергеевну, которую он встретит... да где угодно, там и встретит. Хотя бы на ежегодном совещании секретарей сиротских судов, которое проводит министерство внутренних дел в Петербурге. Ну, а потом регулярные командировки в столицу по служебной надобности, чад безумной встречи, одна минута на пути и стихи, написанные в поезде стремительным неразборчивым почерком на обратной стороне бесчисленных черновиков протоколов, отношений и заявлений. И письма. Лучше всего найти их. По ним легче всего написать документальный роман. И ни за что никому не признаваться. Даже на вручении Букера или Большой книги насмерть стоять на том, что только нашел письма, стихи и расшифровал трудный почерк. Не открывать рта даже тогда, когда жена как бы невзначай спросит, а кто такая Анна Сергеевна, которую ты выдумал, но...

Впрочем, это все сложно – и роман, и стихи, и сидение в архивах, и рытье ходов, и не признаваться. Сколько лет на все это уйдет... Проще взять и найти в музыкальных архивах совершенно неизвестный вальс Чайковского или Шостаковича. Точно так же, как нашел в архиве какой-то итальянец Адажио Альбини. Правда, на композиторский факультет университета тут не перейдешь – придется поступать в консерваторию, а перед этим еще много лет учиться в музыкальной школе, из которой меня когда-то отчислили за постоянные прогулы.

Где-то в конце второй или в начале третьей половины жизни ты начинаешь понимать... Нет, не понимать, но думать, что понимаешь, как нужно было прожить собственную жизнь. Перед сном или часа в четыре утра, когда сна ни в одном глазу, начинаешь чертить план той жизни, которую нужно было прожить вместо той, которую ты уже... прожил. На плане все, как на карте военных действий, нарисовано в самом крупном масштабе – ловушки, ошибки маленькие, ошибки большие, ошибки поправимые и непоправимые, тупиковые дороги, на которые лучше не сворачивать, загсы, ипотеки, дети, жены, институты... Везде все надписано и снабжено примечаниями и советами вроде того, что во второй брак лучше не вступать, а лучше сразу в третий, и будет тебе... и будет. Вот этот холмик – защита диплома, вот этот побольше – защита кандидатской, гора вроде тех, что на Урале или в Карпатах – докторская, отвесная скала, вершина которой теряется в облаках – Нобелевская премия или концерт в Карнеги-холле. На плане все очень красиво – большие красные стрелки от первой жены к третьей в обход второй, синие поменьше – от начальника к тебе, и совсем маленькие, почти бесцветные, к одной женщине из планово-экономического отдела или с кафедры романо-германской филологии... или от нее к тебе... Короче говоря, все ясно, как простая гамма.

С этим планом ты идешь к детям и говоришь – вот прекрасный план. Живите по нему, и будет вам... и будет. Здесь все обозначено, все узкие места, все болота, все непроходимые леса, все солнечные поляны и все острова, на которых зарыты сундуки с сокровищами, а дети... тебя и слушать не хотят. У них уже есть свои планы, которые они набросали на скорую руку и... живут, совершают ошибки – маленькие, большие и даже непоправимые, сворачивают не на те дороги, обходят холмики диссертаций, и маленькие, почти бесцветные стрелки на их планах превращаются в такие огромные красные... Короче говоря, они советуют тебе взять свой прекрасный план и идти вместе с ним... Ты их начинаешь уговаривать, показывать на плане, где самая короткая и самая удобная дорога, по которой проще всего прийти к... Вот и иди, говорят они тебе. Еще не поздно самому пройтись. Заодно подышишь свежим воздухом. Внуков не забудь с собой взять. Не вздумай покупать им сладкое – они и так сегодня съели по два внеплановых куска торта. Игрушек тоже не покупай – их уже некуда складывать.

И ты идешь пройтись с внуками, а по дороге в кондитерскую за двумя третьими кусками торта, который им так понравился, подробно излагаешь им свой план, потом, уже в кондитерской, рисуешь на салфетках красные и синие стрелки, штрихуешь черным ямы, загсы, ипотеки, обводишь в кружки холмы диссертаций и концерт в Карнеги-холле, а они... тебя внимательно слушают, стучат ложками по блюдам и катают по столу красные пожарные машины, купленные в сувенирном киоске у входа в метро. Потом вы идете домой, и у входа в подъезд ты им отдаешь план. Они начинают даться из-за того, кому он достанется, и разрывают его пополам.

Нет-нет да и задумаешься о будущем писателей. Не о будущем литературы, которая была есть и будет всегда, а о писательском будущем. Ну, погоревали мы о смерти изобретения Гутенберга и смирились с наступлением эры электронных книг. Народ понес с базара не бумажные книжки с картинками в толстых и тонких разноцветных обложках, а файлы, и не понес даже, а стал их покупать, не вставая с дивана, в сетевых книжных магазинах. Чует мое сердце, что в сверкающем светлом будущем и файлов не будет. Во-первых, читатели исчезнут как класс, поскольку все станут в той или иной степени писателями. Во-вторых, кто же станет издавать этакую прорву писателей? В интернете найти читателей станет совершенно невозможно. Их будут искать, выманивать из своих нор разными подарками, денежными призами и скидками на все, что скидывается. К тому времени наверняка изобретут телепатию, или не изобретут, но каждому вживят чип для своевременной уплаты ЖКХ или для того, чтобы пресекать крамольные мысли в зародыше. Хакеры из числа писателей – а найдутся, конечно, и такие – начнут взламывать

пароли в чипах, или не начнут, а просто купят базу паролей, как сейчас скупают телефонные базы телефонные мошенники. Ну, а как купят – так и станут передавать свои рассказы, повести и романы, не говоря о стихах, прямо в головы ничего не подозревающим гражданам. Днем, понятное дело, все основные частоты будут заняты распоряжениями властей, а вот ночью... Так и вижу, как писатель ближе к полуночи начинает лезть в головы соседей по дому, а они стучат ему по батарее и кричат... Хотя пойдешь еще найди, кому стучать. Кто же станет признаваться, что он писатель? Как пить дать жильцы начнут жаловаться в районную управу или в полицию, в отдел по борьбе с мыслепреступлениями. Сейчас следствие – и станут его, бедного, ловить. Понятное дело, по исписанным листкам бумаги его не вычислишь, не двадцатый век, а вот аппаратуру будут искать. По улицам в ночные часы станут ездить специальные машины с пеленгаторами вроде тех, которые показывают в кино про разведчиков, или летать специальные дроны. Создадут отделы по борьбе с незаконным писательством. Кстати, будут и законные писатели, вроде Захара Прилепина или Дарьи Донцовой, которым государство разрешит и днем вещать в головы читателям. У них даже будут свои, именнные частоты. Школьникам будут впихивать в головы «Войну и мир» или «Преступление и наказание» принудительно. Тут и не захочешь, а придется слушать. Шапочки из фольги к тому времени будут под строгим запретом. Наверное, к тому времени правительство начнет понемногу уничтожать те немногие бумажные книги, которые останутся в домах у граждан, если они, конечно, вообще останутся. Мало ли что в этих бумажных книгах понаписано. Электронные библиотеки проверять просто, особенно если они в голове, внутри чипа, который под неусыпным контролем, а вот бумажные... Наберут в штаты МЧС брандмейстеров Битти, снабдят их электрическими псами, и... Соседи сами покажут, у кого еще остались книжные полки или даже шкафы. Вот тогда-то и начнется второе пришествие бумажных книг. Поначалу они будут рукописные.